Г. БРУСЪЯНИН

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В КЕДРИНКЕ

ПО «Вымпел» УИМ, 1981 г., з. 1831—150000



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1981

СОДЕРЖАНИЕ



Пионер... Какой большой и глубокий смысл в том, что страна, первой проложившая дорогу в новый мир, страна-пионер, нарекла этим гордым именем своих детей, свое будущее.

Ты раскрыл одну из книг серии, которая поведает о рождении и становлении организации юных ленинцев. Разговор ведут не только писатели, но и непосредственные участники, люди, которые в далеких двадцатых по зову партии и по поручению комсомола вывели в путь отряды красногалстучных. Они прошли большую и нелегкую жизнь, но остались молодыми душой, навсегда сохранили в сердцах неуспокоенность и трепетность пионерских вожаков.

И перед нами оживают страницы прошлого: мы слышим голоса наших давних сверстников, видим пламя первых костров.

«Дорогой учитель, товарищ Ленин! Будьте уверены в том, что мы неустанной работой в будущем претворим в жизнь все те величественные, яркие стремления и обязанности, которые возложены на нас, и этим добьемся окончательного претворения в жизнь наших идеалов. Ваши маленькие и сознательные товарищи».

Км

Г. Брусьянин

Это случилось в Кедринке

Так писали Ильичу в двадцатых годах пионеры одного из первых отрядов.

Они всегда и везде были верны своему слову, своей клятве — «маленькие и сознательные товарищи» коммунистов и комсомольцев, участники и очевидцы великой эпохи борьбы и созидания. С волнением и гордостью прочитаешь ты страницы, повествующие о том, как растили и воспитывали свою смену партия коммунистов и советский народ и как искренне и горячо стремились дети быть достойными своей страны и своего народа. Они светлы и героичны, эти страницы, как и время, писавшее их.

Герои этих книг сегодня уже бабушки и дедушки, а многих из них давно нет среди нас, но с этих страниц они встают юными и задорными, непримиримыми и решительными, мальчишки и девчонки первых лет Советской власти, ровесники революции, чтобы передать тебе и тем, кто придет на смену, свою чистоту и честность.

И мы отдаем салют пионерам пионерии, юным ленинцам первого призыва.

Б $\frac{70803-230}{078(02)-81}$ 046—81. 4803010102

БУРУНДУЧИНАЯ ОХОТА

Почти на пять тысяч километров с юга на север Западно-Сибирской низменности спокойно и плавно течет широкая река Обь. У Оби много больших притоков. А у тех притоков сколько малых — не счесть.

На левом берегу одного из них — речке Таволге — на километр, а то и более протянулась деревня Кедринка. В одну улицу двумя рядами по берегу степенно шагают добротные, из толстых потемневших бревен избы и останавливаются с северной стороны у Большого лога. Вторая улица в Кедринке, вдоль крутого склона лога, начала застраиваться в тысяча девятьсот тридцатом году, когда ранней весной в Кедринку привезли восемнадцать семей раскулаченных. Сначала они расселились на постой к местным старожилам, а потом начали строить свои избы из соснового леса.

Попервости сосланные резко отличались от местных деревенских жителей.

В устоявшийся быт Кедринки вместе с ними, словно занесенные неведомым ветром, ворвались иные обычаи, нравы и привычки. Другие взгляды на жизнь.

Раскулаченные то и дело вспоминали о своей «вольной жизни на родимой сторонушке», не скрывая зла на Советскую власть, вздыхали об отобранных у них пятистенных, а то и крестовых домах с огромными амбарами да полными всякой живности скотными дворами. А какие урожаи там, «на родине», приносила им их «собственная» землица! Сколько разного добра вырастало на огородищах! Да, жили-радовались, ровно у Христа за пазухой. Тутошнее же «бытье-жистянка» — тоска голимая: «ни воли-волюшки, ни силушки-богатства». Даже храма божьего, церкви, нет на сотни верст окрест. Хоть пню осиновому молись-кланяйся. Ну не срамота ли?

Старики и старухи по утрам рассказывали про свои страшные сны, судачили про худые приметы. А самым дряхлым чуть ли не каждую ночь открывались в небесах какие-нибудь зловещие предзнаменования, и смысл всех знамений был один: настало на земле царство антихриста, со дня на день надо ждать конца света.

Двое молодых парней из сосланных однажды ненастной ночью исчезли из Кедринки. Точно канули в воду речки Таволги. Месяца через четыре родственники пропавших «получили весточку с родимой сторонушки»: парней поймали и осудили за побег из места ссылки.

Но время шло. Постепенно, хоть и тяжко, втягивались в таежную жизнь переселенцы. Минул год, и несколько семей из сосланных вступили в колхоз. С трудом, со спорами и тяжкими размолвками последовали за ними и другие, и ушло на это несколько лет. Принимали их в свой крестьянский мир кедринцы, не напоминали, откуда они да почему оказались в этом далеком краю. А край и в самом деле ах какой дальний: двадцать километров от Кедринки до районного центра Агуйдет. А до ближайшего города Томска и вовсе многие сотни верст.

Последними вступали в колхоз четыре семьи — все никак не могли отрешиться от единоличного хозяйства.

А из этих четырех семей самыми последними записались в колхоз братья Подлогаевы из бывших кулаков. Не оставаться же одним как бельмо в глазу среди колхозников на своей собственной усадьбе.

Родную деревню Кедринку белобрысый непоседа Санька Лихов считал лучшей деревней на всем белом свете. Правда, других деревень за свои двенадцать лет он повидал маловато: раз-два — и обчелся.

Стоит она, Санькина деревня, на веселом месте. С двух сторон — с южной и западной — в березовых окоемках широкие светлые поля. А с восточной и северной сразу начинается темная тайга: ели, сосны, лиственницы. Вдоль противоположного, правого, берега Таволги — огромный кедрач. Слышали бы вы, как в глухой его тишине поздней осенью звенят падающие шишки! Большие-пребольшие шишки: из двух набирается целый граненый стакан вкусных коричневых орехов!

И школа есть в Кедринке, маленькая, правда, начальная — до четырех классов в ней учат. Но Саньке это в самый раз: он же только третий класс заканчивает.

Нет, так и запишем: свою родную деревню Кедринку Санька Лихов любит крепко и навсегда.

Однако надо признаться, веселей да привольнее жилось бы Саньке в Кедринке, если бы не один человек, а именно его бабка Варвара. Вроде и не так чтоб уж сильно злая, порой даже добрая бывает Санькина бабка. Но отсталая, а главное, придирчивая — спасу нет. Что бы Санька ни сделал, ей все не так, все надо по-другому.

Правда, и Санька себе на уме: бабка Варвара его отчитывает, а он носом шмыгает да помалкивает. Серьезные же дела свои мальчишечьи делает по-своему.

Только в одном деле приходится Сашке идти с бабкой на компромисс: с верой в бога. То есть в бога-то он

не верит: как-никак третьеклассник Санька Лихов распрекрасно знает, что и громы-молнии, и снега-бураны, и солнечные затмения — все это обыкновенные явления природы. А все-таки ему нет-нет да и приходится иногда с бабкой Варварой вести вот какие разговоры...

— Ну-ка, дай гляну! — Бабка лезет холодными шершавыми пальцами Саньке за шиворот. — На месте ли крестик-то?

— Но. А то как же! — Скривив рот, Санька почесывает белобрысый затылок.

— Что-то вроде-ка нету?

— Быть не должно... Тама.

— Нету! Видит бог — не вру! — возмущается бабка Варвара. — Да и когда же это кончится?

— Скоро кончится! — твердо, по-отцовски, говорит Санька и достает из кармана штанов медный на засаленном веревочном гайтане крестик. И, еле скрывая лукавую улыбку, оправдывается: — Гайтан давеча оборвался, так я его связал да по нечаянности в карман сунул.

— Врешь, поди?

— Но.

— И до каких же пор? — сердится бабка.

— Должно, скоро... Сказал же!

Давненько уже не по-честному поступает Санька, обманом живет. Садясь за стол у бабки на глазах, истово машет рукой, крестясь на потемневшую икону в красном углу. Бабки нет — шмыг за стол и, не перекрестивши лба, сразу за ложку. Пока Санька дома, медный крестик у него на шее. Отправляясь же в школу или летом купаться, снимет его да и запрячет куда подальше.

Сегодня у бабки Варвары на лице праздник и говорит она, будто поет:

— Ну-у, дождались, сердечные! Завтра пасха. Светлое-пресветлое христово воскресение! Помолившись господу богу, завтра будем разговляться!

Санька кривится. Нет, разговляться — это пожалуйста: крашеные яйца, куличи, наваристые мясные щи, то да се... Но ведь перед этой благодатью на целый час домашнее моленье!

Долго соображал Санька, как бы ему увильнуть от нудного богослужения. Уткнулся лбом в окно. Нос пятаком о стекло расплющил. За окном в ограде кот Пушок охотится за шустрыми воробьями, затаился, не шевельнется. Только ушами постригивает да зелеными глазами водит за воробьями — ждет, когда поближе птахи подпрыгают. Вот хитрющий!

«Стоп! — вдруг мелькнуло в Санькиной голове. — А ведь это дело! Ей-ей, подходяще... Придумал!»

...Рано-рано пасхальным утром, когда в избе все спали, потеплее оделся и потихоньку, на цыпочках, скрип за дверь. Куда? А быть сегодня бурундучиной охоте на славу!

Развеселое это занятие — охота на бурундуков!

Идешь ранним весенним утром по стылой земле или по ровному снежному насту-чарыму безо всяких лыж. Идешь — не проваливаешься. Идешь — не нарадуешься. Легко тебе и привольно! Таежный морозный воздух что густое холодное молоко. Охотничьих принадлежностей у тебя самая малость — самодельный манок из латунной гильзы шестнадцатого калибра да силок, тонкая проволочная петля на удилище. Впрочем, сегодня Санька испробует новый способ охоты на бурундуков.

Но сначала — о самом бурундуке.

Распотешный зверек — бурундук. На белку похож, только чуть поменьше. Так же шустро по деревьям лазает и прыгает с ветки на ветку. Только хвост у него не очень пушистый и шерстка серенькая. По спине от ушей до хвоста — пять черных продольных полосок. В сказках сказывают, будто медведь в допотопные времена со зла когтями процарапал. Не угодил бурундук косо-

лапому: зимними запасами орешков не захотел поделиться. Нет, в самом деле, интересный зверек бурундук. И не только тем, что бурундучиные шкурки в «Сибпушнине» принимают. Смешной он очень!

А до чего ж на него охотиться забавно!

Войдешь в тайгу, присядешь на вытаявший пенек или колодину, достанешь самодельный манок и примешься насвистывать по-бурундучиному: турр, турр, турр... Совсем недолго потуркаешь, глядь: с разных сторон между кустов по замшелым валежникам покатились к тебе серые комочки — один, два, три. Покатятся, покатятся и остановятся. Тонюсенькими голосами попищат и снова замелькают. Все ближе, ближе. И если ты будешь сидеть очень тихо, не пошевельнешься, то даже на голову к тебе какой-нибудь самый шустрый забраться может.

Только это вовсе ни к чему — ждать, когда бурундук к тебе на голову заберется. Пустое озорство это. Настоящий охотник поступает следующим образом. Едва бурундук подбегает поближе, охотник его вспугивает: кричит или громко бьет в ладоши: ге-гей! хлоп-хлоп! Миг — и бурундук на молоденькой осинке или березке. Сидит, лапками мордашку прихорашивает да на человека глазами-бусинками зырк-зырк. А чтоб забояться — нисколечко. Ну а дальше уж дело нехитрое — за проволочным силком, пристроенным на конце удилища, дело.

Но Санька Лихов сегодня с собой силка не взял... Не за добычей он подался в тайгу. От бабкиного моленья улизнул. Да и позабавиться ему захотелось.

Взобравшись по крутому левому склону лога, Санька оказался в густом темном ельнике. Постоял, подумал, решил пройти подальше, где редко растут молодые березки. Здесь он и облюбовал старый пенек, поудобнее устроился на его замшелой шапке, достал из кармана манок и размеренно начал:

— Турр... турр...

Не прошло, поди, и трех минут, как вот они: замель-



кали, покатились к нему темные колобки с задранными вверх хвостами.

«Тук-тук-тук», — застучало Санькино сердце. Громко застучало, аж в ушах отдается. Но Санька свое дело знает: сидит, не шелохнется.

— Турр... турр... — гулко раздается в лесу.

Ближе, ближе мелькают шустрые зверушки. Один из них уже совсем рядом. Выскочив на не растаявший в ямине снег, бурундук остановился, вскинулся вверх столбушком и быстро-быстро замелькал передними лапками: красоту наводит.

«Ну... самое время!» — решил Санька. Еле заметным движением расстегнул среднюю пуговицу телогрейки. Резко выхватил из-под полы рыжего Пушка и, бросив его чуть не на самого бурундука, что было сил заорал:

— Ату его, Пушок! Ату-у!

Пока, дважды перевернувшись, кот разобрал, что к чему, бурундучий хвост мелькал уже далеко — под низкими ветками елок.

— Лови! Цапа́й его, Пушок! — тыкал Санька рукой в сторону удирающего бурундука.

Очухавшись, кот большими скачками пустился наутек, раза два мелькнув среди черного густого кустарника. Потом пропал из виду.

— Вот тебе раз, — сокрушенно вздохнул Санька. — Ну и поохотился!

Вернувшись к пеньку, на котором только что сидел, Санька подобрал свои рукавички, неторопливо засунул их в карманы и отправился разыскивать Пушка.

С полчаса проплутав по чащобе, он вдруг сообразил:

«Может, вовсе и не за бурундуком припустил кот-то? Может, он с перепугу куда-нибудь забрался и притаился? Ведь первый раз в лесу».

Остановившись, Санька прищурил левый глаз и сморщил лоб.

«Ну ладно... Пес с тобой, — решил он. — Сам домой вернешься, рыжий! Голод не тетка».

В деревню, однако, Санька не торопился: сейчас у бабки самое моленье.

Опустив голову, заложив руки за спину, он медленно, нога за ногу, брел по обочине дороги. Он мечтал...

Мечтал же в последнее время Санька Лихов об одном-единственном — об аэропланах-самолетах.

«Хорошо бы поскорее подрасти... Сделаться сильным и серьезным, как отец... И обязательно выучиться на летчика! И летать высоко-высоко... Вот бы дать кругаля над Кедринкой!»

От такой потрясающей картины у неудачливого охотника на бурундуков даже дух захватило. О пропавшем Пушке он и думать перестал.

— Вот это да бы! — вслух сказал Санька.

— Эге-ей! — неожиданно раздался сзади него далекий голос. — Саня-а, подожди-ка!

Санька обернулся и увидел: его догоняют двое, небось свои ребята. Он остановился и, сделав ладошку козырьком, сощуренными глазами принялся смотреть поверх макушек высоченных придорожных берез в голубое ясное небо. Понимать надо: самолет выискивал, может, и пролетит.

Мальчишки приближались.

Первым бодро шагал, сдвинув шапку на самый затылок, коротко стриженный темноволосый крепыш в старехоньком, облезлом полушубке. От утреннего морозца да от долгой ходьбы по лесу чистое чернобровое лицо его ярко румянилось, карие глаза светились веселым озорством.

Санька издалека узнал своего одноклассника и отличного друга Павлика Груздилова. За Павликом шаг в шаг ступал их общий приятель, долговязый Петька Комаров.

— Санька, а Саня! — сверкнул Павлик Груздилов бе-

лыми как снег зубами, подойдя вплотную. — Хочешь, фокус покажем? А?

— Валяйте. Все одно, — равнодушно ответил Санька, продолжая глядеть в небо.

— При-гото-вились! — Павлик распахнул, будто крылья, полы своего полушубка, загородив Петьку Комарова. — Готово?

— Но, — ответил тот.

— Ну, Сань, смотри в оба! Раз, два, три! — скомандовал Павлик и резко присел...

В руках стоящего сзади Петьки Санька увидел своего рыжего Пушка.

— Видал? — весело спросил, приподнимаясь, Павлик. — А? Да что ты молчишь, ровно пенек? Хорош котина?

Санька молча почесал за ухом.

— Понимаешь, ходим мы с Петькой по лесу. Слышим — мяучит. Жалобно-жалобно. Мы — туда! Подходим. А он, понимаешь, чудо-юдо самовар, сжался в комок и ни с места. Ну, тут мы его и цап-царап. Петь, дайка его сюда. Вот котище!.. Да ты, дурачок, не бойся! Мы не разбойники. Не обидим. И как только его в тайгу угораздило? Чистое чудо-юдо самовар! Не твой ли это котина? А, Сань? Похож.

— А то вы не знаете! — хмуро сказал Санька. Выхватил из рук Павлика Пушка и упрятал его под полу своей фуфайки, оставив снаружи только одну котиную голову.

— Нисколь не добыл? — спросил Павлик, взглянув на тощие карманы Санькиной фуфайки.

— Но. А вы?

— Тоже.

— Мы березовку пили, — сказал Петька и добавил: — А еще на рожки да ножки убитого лося наткнулись.

— Ври больше! — не поверил Санька.



— Правда, Сань, — тихо проговорил Павлик. — Хочешь, пойдем глянем. Тут совсем недалеко.

— Пошли, — живо согласился Санька. Ему было на руку: все попозже вернется домой. И, глядишь, бабка Варвара успеет поостыть. Меньше будет пилить за побег с домашнего пасхального моленья.

Осмотрев обглоданные зверьем череп и ноги сохатого, приятели порешили, что лося убили, наверно, в начале весны, когда снег был еще глубоким. Браконьеры по насту-чарыму загнали его до того, что крупный зверь, проваливаясь на бегу, ободрал до белых костей кожу на передних ногах. И, обессиленный, остановился. Тут они и уложили его двумя пулями в лоб. Сохатый, должно быть, его сам подставил: перед смертью решил взглянуть на своих безжалостных преследователей.

— И г-гады же! У-у! — Санька Лихов погрозил кулаком неведомо кому в сторону деревни.

А Павлик Груздилов медленно проговорил:

— Эх, чудо-юдо самовар! Жалко, что снег уже во многих местах сошел. Следов не осталось. — Потом, поразмыслив, добавил: — Ну, ничего! Мы над этим делом еще покумекаем, с участковым Иван Иванычем посоветуемся. В деревне кой к чему приглядеться надо. Порасспросить людей. Осторожно. Верно, парни?

— Но-о, — в один голос проговорили в ответ Санька с Петькой.

МАТЬ И МАЧЕХА

В ту же самую субботу, когда Санька Лихов обдумывал план бурундучиной охоты, под вечер, в избе его приятеля Павлика Груздилова происходило следующее.

Из школы Павлик возвратился поздно, в пять часов пополудни. В этот день колхозники завозили в школу дрова на будущий учебный год.

Одна за другой в школьный двор въезжали подводы. Пока занималась первая смена — первый и третий классы — на дворе выросли огромные кучи дров, сваленных как попало.

Заведующая школой, она же Павликова учительница, Марья Петровна и радовалась и беспокоилась. Что ей делать с этакой уймой дров? Их же надо немедленно, сегодня-завтра уложить в поленницы, чтобы и просохли за лето, и порядок в школьном дворе был. А где взять людей? Но тревоги ее были напрасными.

Мальчишки из третьего класса, узнав о заботах своей учительницы, вызвались сложить дрова сразу после уроков.

«Не разойдемся по домам, пока будет валяться хоть одно полено!» — решили они. Часа три с шутками да прибаутками, разгорячившиеся, трудились ребята до седьмого пота. К половине пятого все было в полном порядке: на дворе, любо посмотреть, выстроились ровные и длинные три поленницы.

Вернувшись домой, Павлик застал в избе Польку, больше никого не было.

— Есть охота... Слышь, Польк?

Полька молчала, будто не слыша — скоблила здоровенным ножом-косарем некрашеный стол.

Павлик торопливо разделся, повесил на гвоздь у порога свою школьную холщовую сумку и, пройдя в куть, все там осмотрел. Потом достал с полки из-под марлевой занавески ковригу ржаного хлеба, приставил ее к груди и, ловко орудуя ножом, отрезал большую горбушку.

— Чего бы еще-то? — Позвякал жестяной заслонкой — заглянул в русскую печь. — Хм! Шаром покати! Пошто так сегодня?

— Мамке некогда, — сердито ответила Полька, протирая мокрой тряпкой до белизны наскобленную столешницу. — Она у Подлогаевых. Кросна́ пошла доткать. Завтра пасха! Один-то день и попостовать можно.

— Постуй, если хочешь. — Павлик взялся за железное кольцо и легко, одним махом, открыл лаз в подполье.

— Куда полез?

— Куда надо, — спокойно проговорил Павлик, собираясь спуститься в подпол. — А ты почему дома? Ваш четвертый класс вроде еще учится.

— Тебя не спросила! — показала ему язык Полька.

— Нет, все-таки?

— С пения отпросилась. Наврала учительнице, что горло шибко разболелось. Большой грех петь сегодня. Ведь завтра такой праздник!

— Не ученица ты четвероклассница, а чистая богомолка! Чудо-юдо самовар!

Павлик юркнул в темноту лаза, и вскоре его черноволосая голова появилась из подпола. Он осторожно поставил недалеко от лаза коричневую кринку, сверху повязанную тряпкой.

— Не трожь! — закричала Полька. — Кому сказано, ну?

— Хватит орать-то.

Павлик закрыл лаз в подполье и поставил кринку на подоконник, Полька подскочила к нему:

— Дай сюда, варначина!

Павлик легонько левой рукой отстранил девчонку. Начни возиться — еще прольешь. Пропадет молоко.

— Отдай! — не отставала Полька. — Это мамка к завтрему на сметану поставила. Понял?

— А то! Чего не понять-то?

— Ну и вот! И спусти обратно в подпол!

Павлик, не обращая больше на Польку никакого внимания, достал из-за марлевой занавески алюминиевую

кружку. Поставил ее рядом с кринкой на подоконник. Размешал ложкой верхний слой отстоявшихся сливок, налил молока в кружку.

— Ну, варначина неприкаянный! — Полька отошла от него: молоко, поставленное на сметану, все равно уже испорчено. — Погоди!

— И чего раскричалась? — примирительно сказал Павлик. Он аппетитно откусывал ржаной хлеб и жевал его, припивая чуть прокисшее молоко. — Ты, Польк, шибко-то не бесись! Там, в подполе, я этих кринок насчитал целых шесть... Вот... А нас сколько? — Четверо. Выходит, по полторы на каждого. Я достал только одну. Свою долю значит... Даже меньше.

— Так завтра ж...

— Завтра ж? — Павлик тыльной стороной ладони провел по губам, стер молочную полосу. — Завтра-то я и без молока могу обойтись. Завтра я в лесу березовки напьюсь сколь душе угодно. Ясно?

Полька, однако, не успокоилась.

— Ну, погоди, проклятущий! Вот придут домой твой отец и моя мамка — свое получишь!

Родной матери у Павлика не было. Вот уже три года, как похоронили ее на кедринском кладбище. Тогда Павлик, сильно затосковав, даже школу бросил. Пришлось первый класс снова начинать. Оттого-то в тринадцать лет он в третьем классе и учится.

«Мама, мамочка, да как же так?» — часто мысленно восклицает Павлик, остановив взгляд своих карих глаз на семейной фотографии в большой застекленной раме. Там много разных фотографий. А эта — в центре. Отец с матерью сидят. Павлик стоит за их спинами, положив руки на родительские плечи. Отец глядит строго. А мать и Павлик улыбаются. Им радостно. Наверное, оттого, что жилось в груздиловской избе в те годы легко и весело. А для Павлика и беззаботно.

Как наяву видится родная мать Павлику: ее серые

улыбчивые глаза, ее русые волосы, заплетенные в одну толстую, тяжелую косу, ловкие плавные движения рук, проворная, легкая походка. Нет-нет да будто и услышит он ее грудной голос: «Сыночка мой! Павлинка!»

Забыть ли Павлику поздние летние вечера, когда мама, вернувшись с работы в колхозном поле, брала сразу три ведра — два на коромысле, а одно в руку — и бежала на Таволгу по воду. Много раз сходит: без воды в крестьянском хозяйстве не обойтись — и скотину напоить, и полить огурцы, помидоры, капусту, да и у печи как без воды?

— Ну, ты, Елена, чисто ероплан летаешь! — дивились прохожие.

До сих пор не может простить себе Павлик, да, видно, и никогда не простит своей тогдашней нечуткости к матери. Ведь мог же он за длинный-предлинный летний день понемножечку, по полведерку, наносить две кадушки воды. Пусть крутоват у речки Таволги берег и подниматься с ношей на него тяжеловато! Пусть не принуждала мать Павлика: «Мал еще помощничек. Надсадишься. Подрасти, сыночка». Ведь мог же!

Будто вчера это было — видит ее Павлик на общем колхозном собрании... После долгих, для мальчишек непонятных и скучных разговоров председатель тогда объявил:

— А теперь начнем премировать наших лучших колхозников, которые отличились на уборке урожая. Первая премия наилучшей жнице Елене Груздиловой. Получай, Груздилова, отрез на платье и носи на здоровьице!

Мать своей проворной походкой подошла к накрытому красной скатертью столу, приняла из рук председателя темно-коричневый сверток, легонько поклонившись, негромко сказала: «Спасибочко!» — и зашагала на свое место. Точно стыдясь чего-то, она глядела вниз, под ноги. Но глаза ее улыбались, и лицо заливалось румянцем.

А уж какой она была душевной да ласковой! Бесшабашным, озорным парнишкой рос Павлик. Не один раз приходилось выслушивать Елене Груздиловой от кедринских баб и мужиков упреки и жалобы на сына.

Нередко выходило, что заводилой у мальчишек, сотворивших в деревне очередное озорство, оказывался именно он. Вот, к примеру, одиноко живущая Сметаниха ходила по соседям и горько плакалась: на ее огороде какое-то варначье начисто повытрясло связанный в снопики мак. А потом становилось известно: подбил семи-восьмилетнее «варначье» на это аппетитное дело он, Павлик Груздилов. Или вдруг зимним морозным утром у вечно ворчливой, неуживчивой бабки Кулыгихи ни с того ни с сего дым из затопленной печки вместо того, чтобы идти в трубу, начинал густыми клубами валить в куть.

К вечеру кедринский печник, взобравшись на крышу Кулыгихиной избушки, маленьким багром выволакивал из трубы скатанную в тугой комок лопотину. Лопотина оказывалась старой фуфайкой Емельяна Груздилова, Павликова отца.

Да и дома, в груздиловской избе, нет-нет да и бывали разные непредвиденные случаи. То вдруг в середине лета двенадцать груздиловских кур два-три дня объявляли форменную «забастовку»: не сносили ни единого яйца; то наперекор всем законам природы поставленное в кринках молоко превращалось в жидкую простоквашу. Сметану как корова языком слизывала. Чудеса в кринках, да и только! Чуть позже все прояснялось: на сданные ларечнику Маркелычу два десятка яиц Павлик обзаводился новыми рыболовными снастями, а во время «криночных чудес» у него пропадал аппетит — за столом он есть не хотел, сидел и привередничал.

Понятно, что такие выходки любимого «сыночки» расстраивали Павликову мать. Она, бывало, сильно рассердится: накричит, а то и даст сгоряча звонкого подза-

тыльника. Да тут же и остынет — сама первой подойдет и по стриженой голове ласково погладит...

Ровно резкой чертой-просекой раскроена надвое жизнь Павлика до и после смерти родной матери.

•

Теперь Павлик живет с мачехой.

Около двух лет прошло с той поры, как отец привез из Лосевки, которая в пятнадцати километрах от Кедринки, с таежной стороны Таволги, Настасью Уткину с дочерью Полькой. Из ссыльных Настасья, из бывших кулаков, двоюродной сестрой Никите и Василию Подлогаевым доводится.

Никита Подлогаев-то и присоветовал молчаливому и в быту непрактичному Емельяну Степановичу Груздилову жениться во второй раз. «Без хозяйки не дом, а катух свинячий, — говорил он всякий раз, забегая по какому-нибудь делу в груздиловскую избу и видя там беспорядок. — Толковая баба вас с сынишкой живо обратно в люди произведет». И постоянно нахваливал свою лосевскую двоюродную сестру.

Вдовой была мачеха, пока отец не привез ее в Кедринку. Муж ее первый, слыхать, погиб перед самой ссылкой. В Лосевке кое-кто поговаривает, будто его расстреляли за участие в кулацком восстании...

— Ну, вот тебе, паря, и мать снова будет. Люби ее, слышь, как говорится, да жалуй, — сказал тогда отец. — А то без матери, паря, мы с тобой совсем было заскорузли. Такая вот, значит, штуковина.

Говорил это отец бодро и весело, а у самого голос дрожал и срывался.

Павлик исподлобья оглядел мачеху: невысокого роста, смуглая, над тонкой верхней губой — черные усики, прищуренные глаза шустро бегают из стороны в сторону. Наверно, сразу все в избе разглядеть успела. Движенья ее, когда раздевалась и проходила в куть, были торопливы и резки.



Вместе с ней в избу вошла и остановилась у самого порога девчонка, примерно такого же возраста, как и Павлик. Намазанные до блеска топленым маслом рыжеватые волосы ее гладко зачесаны на прямой пробор и собраны в две короткие косички. Прищурившись, как и мать, она тоже зыркала по сторонам — оглядывала каждый угол избы. Нос ее с широкими ноздрями щедро осыпан веснушками и с маковки облупился. Рот она почему-то все время держала открытым.

— А это, паря, Поля, — кивнул отец в сторону девчонки. — Тебе одногодка. И сестра твоя отныне. Ее тоже люби и жалуй. И они тебя, слышь, тоже любить станут. А как же? Нельзя, паря, иначе.

Вначале все выходило вроде бы хорошо. Павлик после школьных занятий и дров наколет, и воды наносит, и в стайке коровьей, когда отцу недосуг, вычистит... Тяжеловато, конечно: в одиннадцать лет какая еще в мальчишке сила? Но — надо.

Мачеха, хоть и далеко ей до родной матери, попервости была доброй. А может, старалась быть такой. Обстирает, накормит. Нет-нет, да и про школьные дела спросит. «Сынком» да «Павлушей» сначала называла.

Но не прошло и полгода, как ее отношение к пасынку стало круто меняться. И чем дальше, тем больше. Случалось, по целым неделям из-за какого-либо пустяка она его будто не замечала, в кути хозяйничала молча, стиснув в тонкую ниточку губы и сощурив глаза. Школьные дела пасынка теперь ее вовсе не интересовали. Да и кормить его норовила Настасья отдельно от родной дочери Польки — чем поплоше. Когда бывала в духе, называла Павлика не иначе как: «ты», «он», «ему». В запальчивости и раздражении одно у нее слово для пасынка — «варначи́на».

Правда, и Павлик в долгу не оставался: вслух Настасью не называл никак, а про себя, когда особо разозлится, обзывал «жужелицей».

Часам к семи вечера в избе собрались все. Днем отец ездил по сено, а мачеха ткала холст у своих родственников Подлогаевых.

Первой появилась мачеха.

Полька, понятно, сразу же пожаловалась, что Павлик «испортил» кринку молока. Она-де ему не велела, так ему что — хоть кол на голове теши!

Не успел отец переступить порог и раздеться, мачеха уперлась кулаками в бока, прищурилась и зло проговорила:

— Как же это дальше быть-то? А, Емельян? Как жить-то?

— Что еще такое у вас стряслось? — спокойно спросил отец, снимая полушубок. — Что опять вышло?

— Что вышло, что вышло! — передразнила мачеха отца. — Подумать только, и то голимые страсти-ужасти!

— Говорила бы толком...

— И-эх! Да что говорить! Он-то, — мачеха ткнула левым кулаком в сторону Павлика, — цельную кринку молока, на сметану к завтрему поставленного, испоганил. Перед самым христовым праздником! Не мог потерпеть, варначина.

— Ты что это, Павел? Зачем, слышь, это? — спросил отец.

— Я ему не велела, — вмешалась Полька. — Истинный бог, не велела. Дак он свое!

Павлик, ссутулившись, сидел на лавке у стола и, точно не о нем шел разговор, спокойно читал книжку.

Отец подошел к столу, положил руку на плечо сына и уже строже спросил:

— Ты чего это выкомариваешь?

Павлик продолжал читать. Склонив голову в правую сторону, он грыз ноготь большого пальца. Только чистое лицо его начало заливаться краской.

— Грамотей какой образовался! — взвилась мачеха.

Она схватила Павликову книжку, захлопнула ее и швырнула на лавку. — Антилигенция сопливая!

— Ты говори, паря. Не молчи, слышь, — настаивал отец.

— Что говорить-то? — Павлик далеким, отсутствующим взглядом уставился в верхний угол окна.

— Как эт-то что говорить? — все больше распалялась мачеха.

— Объясни, слышь!

— Два раза им объяснял уж... Шибко проголодался. Ничего, кроме хлеба, не было... Вот и достал одну кринку.

— Он достал одну кринку! — визгливым голосом кричала Настасья. — Хм! Молите бога, что только одну, а не все!

— Свой пай я. Ваших не трогал. Хватит вам.

— А до завтрева бы подох? — сверлила Настасья Павлика буравчиками узких глаз. — Околел бы, варначина?

— Не околел бы... Обойдусь без молока завтра... — Павлик старался говорить как можно ровнее, спокойнее, продолжая смотреть в окно.

— Ишь, как отвечать научился, щенок! — не унималась мачеха.

Знал бы кто, как надоели Емельяну Степановичу Груздилову эти семейные заварухи! А без них в последнее время, считай, не обходится ни одна неделя. И всякий раз начинается из-за ничего. Совсем не стало в избе мира между Павликом и мачехой. Хоть ревом реви! Ладно еще, что сам он человек спокойный и рассудительный. В Кедринке его так и называют — «молчун Емеля». В домашние скандалы до сих пор вмешивался он по-своему:

— Вы, слышь, того... Замолчите обое... Так-то оно будет лучше. Вот.

Тяжелый она, старинной кулацкой закваски чело-

век — Настасья Уткина. Ни три года в колхозе, ни семнадцать лет при Советской власти так и не смогли смягчить ее сердце, повернуть его к новой жизни. Чуть ли не каждый день вспоминает Настасья свое прежнее бытье-житье, вздыхает о конфискованном у них с покойником мужем хозяйстве где-то в Алтайском крае.

«Не дом, а прямо дворец у нас был с Митрофаном — крестовый, под железной крышей. Сейчас в нем, пишут, каку-то избу-читальню устроили, кины показывают... И был у нас целый табун лошадей. Жеребец Ветрогон — орловский рысак. У-у, мать честна! Почти по версте за минуту бежал!.. Два десятка одних только дойных коров было... А перед самой этой, ни дна б ей ни покрышки, коллективизацией свиней акширской породы завели — Митрофан свинку с боровком в Барнауле на золотишко выменял... И-эх! Да и что язык-то зря чесать-мучить».

— И все в вашем селе так жили? — поинтересовался однажды Павлик. Поначалу это еще было. Теперь-то они с мачехой спокойно не разговаривают. Так, по домашней надобности иногда разве словом-другим перебросятся — и молчок.

— Сморозил же — «все»! — возбужденно воскликнула тогда Настасья. — Богаче-то нас, почитай, во всем районе не было! Все-е... Сказанул же!

— Значит, были у вас там и бедные? — опять спросил Павлик.

— А ты думал? Когда б не они — кому бы у богатых в батраках ро́бить?.. Мы с покойником Митрофаном меньше двух ни единого года не держали: без батраков такое хозяйство-заведение в жисть не обработать.

— Чистые эксплуататоры, чудо-юдо! — откровенно возмутился Павлик.

— Эт-то кто иксплататоры?

— Ясно кто — вы... были.

Ровно в ледяную воду ухнула Настасья, вздрогнув всем телом. До тонюсеньких ниточек сузила щелки глаз, заметалась по кухне, загремела чугунками-мисками, без надобности выскочила в сени. Тотчас же ни с чем вернулась. А сказать — только и сказала:

— Сиди уж! Не по твоему дурацкому разуму такое дело. — И, мотнув головой в сторону Емельяна Степановича, добавила: — Да и не по-евойному тоже.

С этого-то разговора, пожалуй, и покатилась снежным комом, накручиваясь все больше и больше, неприязнь в отношениях между Настасьей и Павликом.

Крутой, необузданного нрава человек Павликова мачеха. Попробуй ей угодить. Полька, родная дочь, и та частенько не может потрафить. А тут — пасынок. Не видит за Павликом особых грехов Емельян. Парнишка как парнишка. Учительница Марья Петровна, наоборот, его хвалит...

— Проучить его надоть! Раз слов-то не понимает! — приставала, требовала, теребя отца за рукав, мачеха.

Павлик взял с лавки брошенную Настасьей книгу. Снова сел к столу и принялся отыскивать нужную страницу.

Ну, такого Настасья уже не вытерпела. Бухнулась на лавку и, дергаясь плечами, на всю избу заревела.

Отец снял с себя широкий кожаный ремень. Сложив его вдвое, приказал:

— А ну, выходи! Сюда, слышь!

Аккуратно закрыв книжку, Павлик встал, вышел на середину избы, расставил пошире ноги, повернулся к отцу спиной, сбычив шею, крепко сцепил пальцы обеих рук на затылке...

Никогда до сего дня, ни единого разу не бил Емельян Степанович Павлика по-настоящему, по-мужски. За уши иногда «для порядка» драл, случалось.

Однажды, правда, хотел выпороть.

Когда деревенский печник принес и отдал ему вынутую из трубы бабки Кулыгихи измазанную сажей лопотину, Емельян узнал в ней свою старую фуфайку и строго сказал сыну:

— Слышь! Принеси-ка мне, паря, хороший прут. Из кучи, что на новый плетень припасена. Знаешь, где?

— А то не знаю!

Павлик мигом вернулся с прутом. Прищурив глаза и поглаживая кончиками пальцев лоб, чтобы скрыть улыбку, протянул его отцу.

— Знаешь, зачем он мне нужон?

— А то!

— Вот-вот. Сейчас драть тебя стану, паря!

— И за дело, — серьезно сказал Павлик, повернувшись к отцу спиной.

И — все! Прут полетел под порог...

А сейчас бил Емельян своего сына широким твердым ремнем.

— Надо ж, хоть бы одна слезинка у варначины! — вмиг перестав реветь, удивилась мачеха.

— Дождешься, как же, — тихо проговорил Павлик и про себя добавил: — Жужелица!

— Все, что ли? — повернулся он, не снимая ладоней с затылка, когда отец бросил ремень в угол к порогу. — Или как?

Отец, ссутулившись, подошел к столу, тяжело плюхнулся на лавку, гулко стукнув локтями о столешницу, со вздохом сжал голову широкими скрюченными ладонями. Будто тисками сдавил.

Все молчали.

Павлик неторопливо снял с гвоздя свою шапку, натянул ее на самые глаза, одним махом накинул на плечи облезлый полушубок и резко хлопнул дверью.

В эту ночь он дома не ночевал.

ФИЛЬКА ПОДЛОГАЕВ

Филька Подлогаев в этом году появляется в Кедринке только по воскресеньям. Четыре класса местной начальной школы он закончил в прошлом году и теперь учится в райцентре, в пятом классе Агуйдетской средней школы. Двадцать километров от Кедринки до Агуйдета — каждый день не находишься.

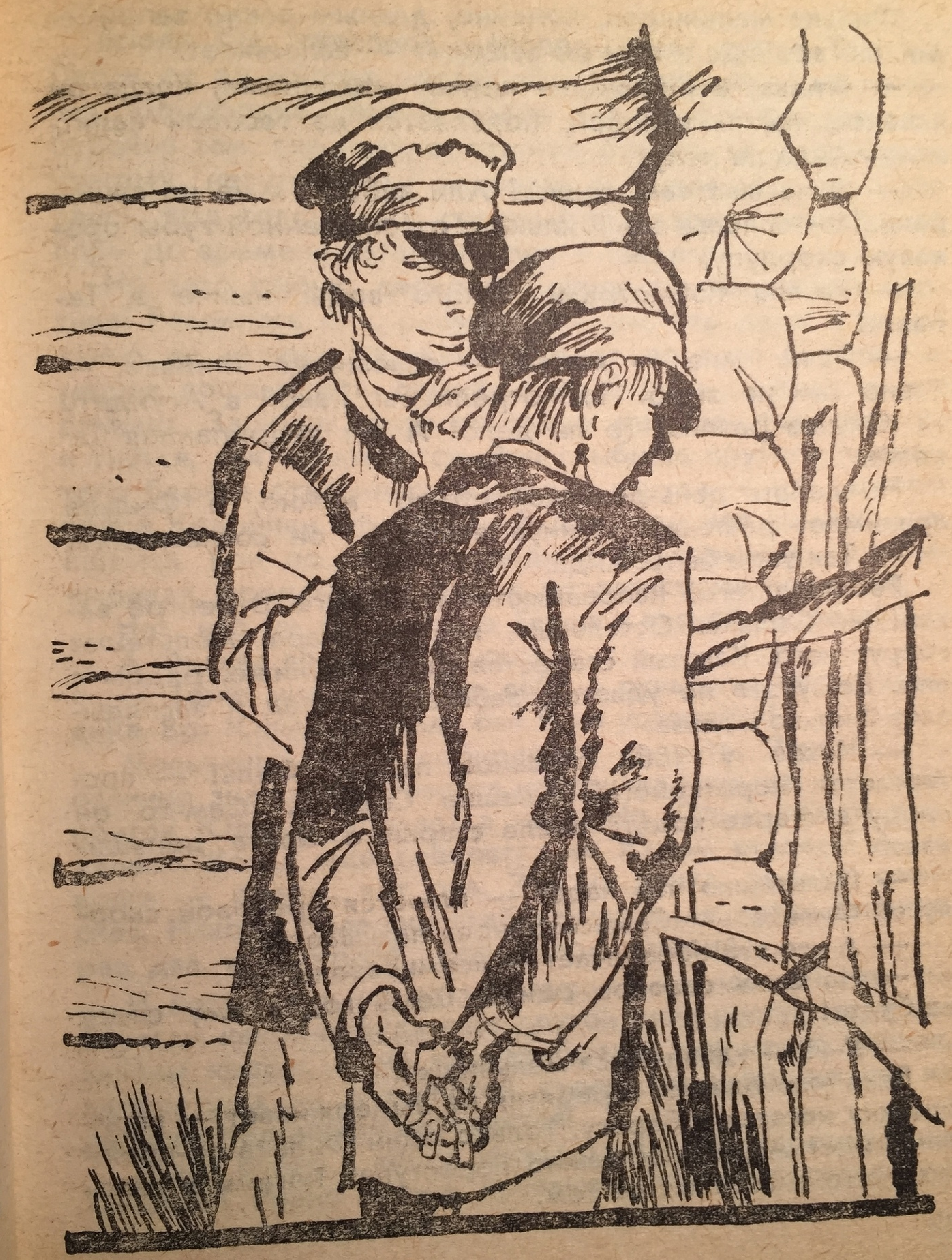
Кривляка он порядочный, этот Филька. Когда о чемнибудь рассказывает или спорит с ребятами, все головой вправо-влево мотает, губами причмокивает, прицокивает языком. И уж больно задается. Всегда найдет чем похвастаться: новыми пимами-валенками, полусуконной тужуркой на вате, силой-ловкостью своей и даже грамотой будто бы необыкновенной. А уж чего там необыкновенного: учится так себе, на сплошные «удики».

Но ведь не всякий из кедринских мальчишек сумеет сразу «раскусить» Фильку. И вьются, как над обрывом стрижи, вокруг Фильки пять-шесть парнишек, стоит ему появиться в Кедринке.

Вот и сегодня тоже.

С самого утра под окнами подлогаевского дома начали маячить Колька Суханов, Ванька Дьяконов, Алешка Сырцов и еще трое. Все они помоложе Фильки — в местную начальную школу ходят. В дом, правда, не идут — отца и дядю Филькиных побаиваются.

Дом у братьев Никиты и Василия большой, крестовый. Крыша у дома тесовая, и заплот с воротами тоже. Резные наличники на окнах и ставни голубой масляной краской выкрашены. Справно живут братья Подлогаевы. Двумя семьями в одном доме. Правда, сéмьи-то у них невелики: у старшего Никиты всего один сын Филька, а у Василия с женой и вовсе детей нет.



Филька мальчишек, конечно, давным-давно приметил. Но все еще к ним не выходит — важничает.

— Фильк, а Фильк! — кричат мальчишки, когда он наконец, мотая головой, появляется из тесовой калитки. — Айда на реку!

— А че мне там делать? Али забыл я че на вашей речке? — сплевывает Филька с оттопыренной губы ореховую скорлупу.

— Разлив посмотрим. Много воды нынче в Таволге!

— Тоже мне — много, — важничает Филька. — Ровно сам не знаю. Посмотрели бы, какой в Агуйдете на Юлыме разлив! То ли дело! А тут задрипанная Таволга.

Но делать день-деньской что-то нужно, и Филька принимает решение. Цокнув языком, он соглашается:

— Так уж и быть. Айда.

Ребята ватагой направляются к Таволге. В центре ватаги — Филька. Остальные, как мошкара, мельтешат вокруг него. Каждый старается быть поближе, рядом с ним. Кому это не удается, забегает вперед и заглядывает Фильке в глаза.

— Какое у тебя справное пальто, Филь! — восторгается коротконогий Алешка Сырцов. Сам-то он сроду в старье ходит: после старшего брата донашивает.

— Пальтишко что надо! — плюется ореховой скорлупой Филька. — «Семисезонное» называется.

— А что это обозначает — «семисезонное»?

— На семь сезонов сшито. Семь годов ему сносу не будет!

— У-у! — удивляются мальчишки.

Река уже близко, и ребятня не выдерживает — вприпрыжку несется к берегу. Только один Филька по-прежнему идет медленно, важно переступая ногами в сапогах, густо смазанных дегтем.

Вроде бы невелика малоприметная речка Таволга. Летом ее во многих местах вброд перейдешь, не намочив подбородка. Зимой, после разгульных февральских буранов там, где низкие, отлогие берега, ее и не видно. Чужому, нетутошнему человеку и невдомек, что вот здесь, под толстенным снежным одеялом, притихла, до поры до времени затаилась речка Таволга.

Но зато сейчас, весной... Сейчас совсем другая картина! Разлилась она, разметалась так, что даже в самой узине не всякий парнишка сумеет до того берега камешек дошвырнуть. Мутная вода бурлит, пенится на излучинах. Залитые почти до самых макушек тальники так и гнутся, так и шатаются. Вон глыбища крутого подмытого берега отвалилась и в воду ухнула — на дальнем конце Кедринки слышно — будто гром над землей раскатился. Вон по самой середине, то скрываясь, то выныривая, проплывает кедр с разлапистыми корнями.

Нет, что ни говорите, а Таволга весной — река!

А Филька все стоит на своем:

— Тоже мне река! Так себе — ручьишко после дождика. Вот Юлым увидели бы! И не успоряйте!

Мальчишки и не собираются спорить. Зачем? Они отлично знают, что Таволга наверняка меньше: она ведь приток Юлыма, впадает в него. Но Юлым где-то там, далеко. Когда еще доведется им Юлым увидеть! А Таволга — рядом, вот она. Это их речка, родная, свойская. Находи полепешистей камушек да «пеки блины»: раз, два, три, четыре... Если ловок, понятно.

И потом они ни за что никому не поверят, что по берегам какой-нибудь еще другой реки растут такие великаны кедры. А на кедрах бывает так много шишек, здоровущих — с мужской кулак. Не напрасно же их деревня Кедринкой называется!

А как буйно в конце весны расцветает черемуха над Таволгой! Ровно белые кучевые облака опускаются с неба на крутые берега.

— Эй, пацаны! — кричит Филька. Он остался один. Парнишки разбрелись по берегу — кто чем занят. — Мальцы, подь сюда!

Зачарованные Таволгой, мальчишки не обращают на Филькины призывные крики никакого внимания. И ему, чтобы они подошли, приходится пуститься на хитрость:

— Ла-адно! Тогда я подался домой!

Угроза действует. И через некоторое время «мальцы» собираются около Фильки:

— Че еще?

Филька, картинно отвернув правую полу «семисезонного» пальто, достает из кармана плисовых брюк колоду самодельных карт:

— Вот че! Резанемся?

Все молчат. Была охота связываться с картами, когда вокруг такая благодать!

— Дрейфите, трусы сыромятные? А?

— Да нам все одно, — почесывая за ухом, вяло соглашается Колька Суханов. — Можно и сыграть.

— В дурачка, что ли? — спрашивает Алешка Сырцов.

— Ха, в дурачка-а! — ухмыляется Филька. — В дурачка пусть дурачки и дуются. Мы — в очко. Чуете? И только на денежки! Без денег — чхал бы я на это дело. Лучше дома на тальянке пиликать.

— На деньги-и? — тянет Ванька Дьяконов.

— У нас деньгов нету...

— От сырости, что ли, они в карманах наших разведутся?

Филька мотнул головой, цокнул языком, не торопясь начал засовывать карты обратно в карман:

— Тогда шабаш. Я пошел. Неча мне с вами...

Мальчишкам, однако, жаль отпускать Фильку. Сбившись в кучку и погалдев, они решают сбегать по домам, попросить у матерей денег, кто сколько может, на что-нибудь дельное. Долго ли выдумать-то?

— А кому денег не обломится, — кричит им вдогон-

ку Филька, — тот тащи яички! Поди у всех есть — сегодня же пасха. На них играть станем. Мне все одно с собой яиц на целую неделю запасти надо. По пятаку сойдут!

Через каких-нибудь полчаса в закопченном предбаннике Сырцовой кособокой бани, угнездившись вокруг перевернутой деревянной шайки, компания режется в очко. Играют парнишки в двадцать одно и нещадно, до тошноты курят. Самосадом угощает Филька. Не просто так угощает: как самокрутка, так копеечка.

— А че? Дружба — дружбой, а табачок врозь!

Он же, Филька, и выигрывает. Самодельные карты свои — какая за какой идет — он назубок знает.

Алешку с Ванькой и еще троих пацанов Филька живо обчистил: выиграл у них и медяки, и с десяток крашеных луковой шелухой яиц. Тягается с ним пока еще только один Колька Суханов. Колька донельзя скуп и прижимист. Больше, чем на две копеечки, не бьет. Оставшиеся у него монеты прячет во рту, за левой щекой. И когда достает их дрожащими липкими пальцами, чтобы поставить в банк, то они, заслюнявленные, приклеиваются ко дну деревянной шайки.

— Да не трусь ты, жила! — сердится Филька. — Бей больше! Так мы с тобой до самого вечера проканителимся. А мне еще в ларек успеть надо, леденцов купить. Аль забыл, что Маркелыч сегодня только до обеда торгует?

Но Кольку Суханова прошибить непросто.

— Опя-ать дрянь карта!.. На две копеечки, — протягивает Колька дрожащую руку. Получив карту, прежде чем заглянуть в нее, он прижимает ее к груди, далеко откидываясь назад и озираясь по сторонам: не подсматривает ли кто.

— Вон куда-а они забрались! — неожиданно раздался звонкий голос. — Карте-ежники!

«Картежники», как по команде, вскочили. Филька за-

мельтешил пальцами обеих рук: начал собирать разбросанные по дну шайки карты. Колька сгреб в горсть медяшки и сунул их за щеку с такой поспешностью, что они, будто сухой горох, защелкали по зубам.

Все. Докажи попробуй, что здесь только что резались в очко!

Но оторопь игроков мигом исчезла. Тревога оказалась зряшной. Обернувшись, Филька увидел в дверном проеме предбанника Саньку Лихова. Всего-навсего Саньку, безобидного выдумщика и мечтателя. И, снова усаживаясь на банную скамейку и тасуя замурзанные карты, приказал Кольке Суханову:

— Вынай изо рта деньги! Поехали дальше. А ты, жук, — махнул он рукой в Санькину сторону, — кыш отседова! Понял? А то по шеям схлопочешь!

Колька Суханов медяков, однако, из-за щеки вытащить не успел: он увидел, как за Санькой Лиховым показался сначала Петька Комаров, а потом еще и Павлик Груздилов.

— Кому говорено — кыш! — сквозь зубы прошипел Филька и, сжав кулаки, пошел на Саньку.

— Что это он? — удивился Павлик. — Белены, что ли, объелся? Чистое чудо-юдо самовар.

— Да вон... В карты жучились.

— И жучились! Пущай! Твое какое поросячье дело? — Филька толкнул полусогнутым кулаком Саньку в плечо. — А ну, сыпься отседова! Чтоб и духу твоего не было! А то...

— Что «а то»? — Павлик, отстранив Саньку Лихова, приблизился к Фильке. — Растолкуй.

— Что «а то»? А вот что! — Филька точно так же, как и Саньку, толкнул в плечо Павлика.

Толкнул-то так же, да не то вышло. Павлик цепко схватил Фильку левой рукой за рукав повыше локтя, потом правой — за другой. Упершись ногами в низенький порожек, выволок его, будто мешок с картошкой,

из предбанника. И не успели мальчишки глазом моргнуть, как Павлик, рывком упав на спину, легко и ловко перекинул Фильку через себя.

— Так-то лучше! — Павлик прижал коленом в живот лежащего на спине «картежника». — А то закышкал. Атаман какой нашелся!

Филька пыхтел, размахивая руками, норовил царапнуть Павликово лицо.

— Слабо, Филечка. Так-то. — Павлик отпустил его, поднял далеко отлетевшую свою шапку, небрежно нахлобучил ее на затылок.

Филька поднялся, сопя, принялся отряхивать полы своего «семисезонного» нового пальто. Когда он повернулся спиной, все, даже Филькина компания, громко захохотали: спина была в жирной грязи. Как раз в лужину угодил!

— Вот это обновил! Ха-ха! — громче всех смеялся Санька Лихов. — А то фу-ты, ну-ты, палки гнуты! Хо-хо!

Догадавшись, над чем смеются мальчишки, Филька снял пальто, оглядел его со спины, прикусил нижнюю губу и заплакал.

— Сам виноват, — спокойно проговорил Павлик. — Вдругорядь не будешь нарываться!

— А я знаю, как быть, — сощурив левый глаз и давась смехом, проговорил Санька Лихов.

— Как? — серьезно спросил наивный Алешка Сырцов.

— Проще простого. Пусть Филька наденет обратно свое пальто, а мы их обоих, и пальто и Фильку, в Таволге сполоснем хорошенько.

— А катитесь вы все... — перестав плакать, зло и с обидой сказал Филька. — Чхал я на вас!

Он накинул пальто на левое плечо и поплелся в деревню. Отойдя метров на двадцать, Филька обернулся и погрозил грязным кулаком:

— А ты, груздь соленый, погоди у меня! Мало тебе,

видать, вчера отец ремнем нагвоздакал. Свое еще получишь!

— Валяй-валяй! — помахал ему рукой Санька. — Обсушивайся. А то как бы не заплесневел!

«Картежники» из Филькиной компании стояли в нерешительности. Идти за Филькой побоялись: вдруг Санька с Павликом расскажут завтра в школе про карты. Крепко влетит всем за это дело от учительницы. А еще больше достанется от родителей: нетрудно догадаться, для какой надобности сегодня медяки клянчили.

— А с вами, — обратился к «картежникам» Павлик, — уговор: в очко, чур, больше не играть. Если еще раз заметим, пеняйте на себя. Как миленьких разрисуют вас Сенька-Фенечка в стенгазете!

— К чертям запечным его, это очко! — обрадовался приунывший было Алешка Сырцов. Он больше всех боялся огласки: последнюю мелочь у матери выпросил и проиграл. А ей божился, что тетрадок купит.

— Не будем, — заверили остальные «игроки».

Один Суханов Колька промолчал.

За этим разговором никто не заметил, как Санька Лихов юркнул в предбанник. Там валялись разбросанные по дну шайки и вокруг нее самодельные Филькины карты. Санька аккуратненько собрал их и, выходя из предбанника, загнусавил:

— Со святы-ими упоко-о-ой... Давайте, парни, пуганем их по Таволге!

— Верно!

— Давайте!

Через минуту среди хлопьев грязно-бурой пены поплыли, закружились самодельные Филькины тузы да короли с дамами.

— Чтоб вам ни дна ни покрышки!

Побросав все до единой карты в реку, от души вслед им наулюлюкавшись, мальчишки враз замолчали и даже заметно приуныли: ну а что же делать дальше, что бы

такое придумать еще, чтобы скоротать остаток дня до вечера?

Больше всех возвращаться сейчас домой после вчерашнего скандала не хотелось Павлику Груздилову, может, и вовсе не пойдет он в свою избу. Опять у сторожа деда Михея на колхозной конюшне, в хомутовке, переночует. Отца только как-то предупредить нужно, чтобы лишнего не тревожился. Ему и так не мед.

Можно, конечно, в деревню пойти и просто по улицам пошататься. Там сейчас почти в каждой избе уже гулянки идут. Отсюда слышно, как гармошки играют да девки с бабами возгудают-поют. Скоро, видно, целыми компаниями на улице народ веселиться почнет.

Чудные все-таки эти взрослые!

Покуда трезвые — люди как люди. А стоит им напиться самогонки или браги, так черт-те что начнут выкомаривать. Еще хорошо, если бы только плясали да оглашенно орали охрипшими голосами всякие песни-частушки. А то ведь иной дядя так назюзюкается, что на четвереньках и то передвигаться не может. Или к вечеру, поди, опять какие-нибудь парни из-за Фенечки Глыбиной настоящее побоище сочинят. С утра прихорашиваются: сапоги начищают, в новые костюмы наряжаются. То, се... А после драки на них одни голимые лоскуты болтаются. И в грязюке вываляются, ровно свиньи в самую жару. Василий Бородулин, гляди, как бы опять — на рождество так было — всю свою семью по соседям не разогнал. Сам же здоровенную жердину из прясла выворотил и на середине улицы уселся. Пустую избу охранять.

Многим посторонним страсть как смешно на все это смотреть-любоваться. А уж чего здесь веселого? Тоска — беда одна, вот что...

Мальчишкам-ровесникам, Павликовым товарищам, если по-настоящему-то разобраться, разве такое веселье нужно? Вон Петька Комаров рассказывает. У них в Агуй-

детской школе-десятилетке пацаны-пионеры интересными делами занимаются: сборы, походы, кружки работают разные. Послушаешь — душа радуется. Тут же в выходные дни да по праздникам не знаешь, что и придумать от скукотищи.

А в Кедринке все равно сейчас Павлику делать нечего. Лучше податься к Лукерьиному омуту, а по пути на колхозную мельницу заглянуть.

— А ну, ребятня! — скользнул он взглядом по лицам мальчишек. — Пошли на мельницу! Посмотрим, может, вода уже через плотину переливается.

— Айдате!

И мальчишки всей гурьбой направились берегом вверх по Таволге. Колька Суханов с ними не пошел. Подался в деревню: решил тайком наведаться к дружку Фильке Подлогаеву.

В доме Фильки не оказалось. Завернув на зады подлогаевского двора, Колька увидел его на огороде, у освещенной солнцем амбарной стены. Воткнув в навозную кучу двое вил, Филька развесил на них свое «семисезонное» пальто. Перед этим, таясь от домашних, он старательно замыл испачканную спину водой. Сейчас Филька сидел на корточках и уплетал за обе щеки выигранные в очко крашеные яйца. Все они во время возни с Павликом были раздавлены.

— А-а, это ты! — обрадовался Филька, увидев так кстати появившегося дружка-приятеля. — Где остальные?

— На мельницу поперлись.

— И Алешка с Ванькой?

— Они тоже.

— Сволочня рваная! — цокнул языком Филька и зло плюнул. — А ты тоже хорош! Нет чтобы заступиться, так еще и захохотал, разлыбился.

— Вы же один на один. По-честному...

— Ну, груздина соленый! — Филька привстал с кор-

точек и отряхнул ладони. — Я тебе устрою... Не зарадуешься!

Он помолчал. Влево-вправо мотнул головой. Причмокнул губами и вдруг спросил:

— Ты мне друг?

Колька молчал.

— А?

Колька утвердительно кивнул головой.

— Тогда перелазь через прясло и топай сюда. Только осторожнее, чтоб наши не увидели. А то устроят такую баню! И мне и тебе перепадет.

Колька, кряхтя, перелез через высокую, из ошкуренных осиновых жердей изгородь и, выбирая места посуше да поглядывая в подлогаевский двор, подошел к Фильке.

— Значит, говоришь, друг? — еще раз спросил Филька.

— Но.

— Тогда вот что... — и Филька, воровато оглядываясь по сторонам, точно кто-то его собирается подслушивать, начал что-то шептать Кольке на ухо. Шептал долго, сбивчиво, теребя дружка-приятеля за верхнюю пуговицу фуфайки.

Колька, опустив голову, терпеливо слушал. Временами пожимал плечами. Иногда кисло улыбался и язвительно хмыкал, а все выслушав, заявил:

— Чтобы такое да на него свалить, это ты, Филечка, зря загинаешь. На него ни одна собака ни за что не подумает. У завшколихи он любимчик и...

— Да послушай ты, дурья башка! — горячась, убеждал Филька. — Русским языком говорю: твое дело стибрить, а остальное за мной. Через крестную Настасью все проверну. Аль не знаешь, Пашка с мачехой живут что кошка с собакой.

Колька носком сапога ковырялся в жидкой навозной

грязи — ручеек проводил и, будто не слыша Филькиных слов, помалкивал.

— Ну же, Коль?

— Ладно, — вяло пробормотал Колька. — Там видно будет.

БОЛЕЗНЬ

Окна двух классных комнат Кедринской начальной школы выходят на реку Таволгу. Тот, зареченский, берег реки белым-бел: буйно в нынешнем году цветет черемуха.

В школе заканчивается учебный год. Ученикам уже выставлены годовые отметки. Нет их только у отстающих.

Недели три назад на уроке арифметики Марья Петровна назвала фамилии третьеклассников, которым нужно подтянуться по этому предмету. Среди названных оказались Колька Суханов и Марина Махова.

С Сухановым все ясно: лентяй несусветный. Стоит ему по-настоящему взяться, он в два счета арифметику одолеет. Так он сам и заявил Марье Петровне, когда она прикрепляла к неуспевающим сильных учеников.

Иное дело с Мариной. По всем остальным школьным предметам у нее хорошо, а арифметику никак не может усвоить. Решать примеры — еще куда ни шло. А как дойдет до задачек, не может сообразить, да и только.

С первого взгляда Марина как будто ничем не отличается от других одноклассниц. Темноволосая, с двумя, как у всех девчонок, косичками. В школу обычно в

немарком ситцевом платьишке ходит. Нос у нее пуговкой — ровно в оконное стекло им уперлась. Как весна, весь он у нее крупными конопушками покрывается.

А поговори с ней десяток минут да в лукавые глаза ее посмотри, сразу почувствуешь, что Марина — особенная девчонка.

И плясунья она первая в школе. И поет так, будто патефонную пластинку слушаешь, точно соловей заливается...

Мальчишки вечно ей проходу не дают: то толканут, то за косички дернут.

Марине по арифметике надо было помочь основательно. И Марья Петровна прикрепила к ней Павлика:

— С Маховой дополнительно будешь заниматься ты, Груздилов. Смотри — не подкачай! Я на тебя надеюсь.

Со второго полугодия первого класса учительница начала прикреплять Павлика к слабым ученикам. Сначала Павлик помогал одноклассникам по чтению и письму, а позже начал и по арифметике.

Нельзя сказать, чтобы сам Груздилов получал по всем предметам только «очень хорошо». Всякое случалось. До сего дня не может спокойно вспоминать, как оскандалился он во втором классе.

На уроке чтения присутствовал инспектор районо, и Марья Петровна по этому случаю решила опрашивать только сильных, надежных учеников. Первым вызвала к доске Павлика. Он же, как назло, к уроку не приготовился: понадеялся, что не спросят. У него и без того в классном журнале больше всех отметок, и почти все «оч. хор.» Вышло — хуже не придумаешь.

— Не ожидала от тебя такого, Груздилов, — недовольно и даже обиженно сказала учительница. — Что с тобой сегодня? Ставлю «удовлетворительно». Да и то с большой натяжкой.

А многих, в первую очередь Маринку Махову, похвалила. Да и инспектор — тоже.

В тот день Павлик со зла и из зависти Маринке полную школьную сумку снегу натрамбовал.

...Около трех недель, каждый день, Павлик с Мариной оставались после уроков и занимались по арифметике в учительской. Обе классные комнаты после обеда заняты — второй и четвертый классы учатся в них во вторую смену.

В первые дни, чего уж скрывать, неважно шла у них дополнительная арифметика. И все из-за Марины. Павлик старательно задачку растолковывает, думает, что она, навострив уши, слушает, а Марина вдруг ни с того ни с сего возьмет да и скажет:

— Какие у тебя брови красивые! Черные-пречерные. И лицо чистое-чистое... Мне бы такое!

Павлик покраснеет. Даже учебник хочется ему захлопнуть да рассердиться на Маринку. Только разве на нее рассердишься...

— Ну, ладно, ладно. Больше не буду! — уверяет она Павлика, — объясняй дальше.

В последнее время Павлик почувствовал, что Маринины дела с арифметикой заметно улучшились. Легкие и средней трудности задачки она уже решает самостоятельно. Да и трудных перестала, как прежде, бояться.

Арифметика сегодня — вторым уроком.

Марья Петровна объявила, что будет спрашивать только отстающих учеников и вызвала к доске Кольку Суханова.

Колька вылез из-за парты, взял учебник арифметики и, по-гусиному переваливаясь с ноги на ногу, направился к доске.

Задача решалась в четыре действия. В третьем действии Колька допустил ошибку и застрял, словно споткнулся на ровном месте.

— Садись, Суханов! — строго посмотрела на него

учительница. — Неважные твои дела. «Уд.» я тебе пока поставить не могу. Придется поработать как следует, если не хочешь получить задание на лето.

Раздосадованный Колька, на весь класс шмыгая носом, сел на свое место и низко наклонился над крышкой парты.

— ...А теперь к доске пойдет Махова.

Марина схватила свой аккуратно сбернутый учебник и проворно вышла к доске.

Учительница назвала номер задачи.

— Порядок работы тот же, — добавила она. — Махова — на доске, а остальные — в тетрадях. Приступай, Марина.

В классе тишина. Все заняты делом. Поскрипывают перьями. Шелестят тетрадями.

Только Кольке Суханову не до задачи. Уткнувшись лицом в перекрещенные на парте руки, он подергивает плечами и то и дело всхлипывает.

— Перестань, Суханов! — говорит учительница. — Заниматься надо, а не хныкать.

Павлик быстро прочитал условие задачи, продумал ход ее решения и внимательно наблюдает за Маринкой. Не растеряется ли?

Но Марина уверенно записывает вопрос за вопросом на доске. Выполняет действия одно за другим, и пока все правильно.

— Так... Та-ак... — тихо шепчет Павлик. — Молодчина Маринка!

Когда Марина объяснила задачу, учительница сказала:

— Вот как, Суханов, надо работать! А ты — в слезы... Маховой я ставлю «хорошо»!

Разрумянившаяся Марина, будто танцуя, легко и быстро идет к своей парте. Веселая, сияющая идет. И подмигивает Павлику левым глазом.

На большой перемене мальчишки, по издавна заве-

денному обычаю, помчались на Таволгу. Целых двадцать минут перемена, а берег рядом — рукой подать.

Почти у самой воды, на берегу лежит перевернутый вверх дном смоленый обласок. А под ним весло. Можно малость и покататься.

Всей горластой оравой мальчишки опускают, ровно перышко, обласок на воду. Каждый норовит в него влезть.

— Больше троих не садиться! — разумно предупреждает кто-то. — А то запросто булькнуть можно!

Да где там! Сесть хотят все. Санька Лихов, видя, что обласок вот-вот черпанет бортами, вылазит на берег. Зато вместо него впрыгивает Колька Суханов. Про арифметику, как и про горючие свои слезы, он и думать забыл.

— Сдурел, что ли? — кричит ему Павлик, который сидит с веслом на корме. — Не на плот лезешь!

— Ну-у, пошел!

— Поехали!

Через минуту-другую четверо на том берегу.

А благодать кругом какая! От цветущей черемухи воздух густым ароматом напоен, хоть ножом режь.

— «А Маринка-то, — вспоминает Павлик, — задачку, как орешек, раз — и щелкнула!»

Он надумал сломить две ветки черемухи — одну для Марьи Петровны, другую для Марины.

Не успел Павлик влезть на большую черемошину, как заметил: обласок с тремя мальчишками уже на середине Таволги. Щучкой скользит, направляясь на противоположную сторону. Веслом орудует Колька Суханов. Торопится, шельмец, с руки на руку его перекидывает.

— Эй, вы! А ну гоните облас сюда! — громко закричал Павлик.

Беглецы как будто его и не слышат... Когда обласок ткнулся носом в вязкий берег, они горохом ссыпались на траву. По Колькиной команде выдернули обласок

из воды. Перевернули его вверх дном на том же самом месте, где он и лежал прежде.

Колька вскарабкался на высокий обрывистый берег и, размахивая веслом над головой, злорадно закричал:

— Что, скушал, жених Мариночкин? А?

Санька Лихов подбежал к Кольке и попытался отобрать весло. Да где ему! Колька не только выше Саньки, он еще и сильнее. Остальные мальчишки не вмешивались. Им, видно, было любопытно: чем же закончится эта развеселенькая история.

Зазвенел звонок. Протяжный, громкий. Уборщица нарочно вышла на крыльцо, чтобы аж на том берегу слышно было. Всех учеников, кроме Саньки с Колькой, точно ветром сдуло. Оглядываясь, свистя и гикая на бегу, они умчались в школу.

— Чего трусишь? Шпарь вплавь! — заорал Колька.

«А что? — подумал Павлик, — видать, придется. Не ночевать же здесь».

Он снял брезентовые тапочки. Разделся. Все, что снял с себя, завернул в пиджак и туго перехлестнул рукавами.

Медленно, поеживаясь с непривычки от холода, ступил в реку. Вздрогнул всем телом: вода в Таволге ледяная. Купаться, наверное, не раньше, чем через месяц можно будет... Сделал робкий шаг... И, осторожно завалившись на воду, суматошно заработал прямыми ногами. Плыл на спине, держа узел с вещами над головой.

На берегу его ожидал Санька Лихов. Колька исчез: мало радости ему сулила встреча с Павликом.

Не довелось Павлику «потолковать по душам» с Колькой Сухановым в этот день и после уроков. Участковый Иван Иванович Глазырин, муж Марьи Петровны, попросил Павлика с Санькой показать ему останки убитого браконьерами лося. Те самые, что они нашли в лесу за Большим логом в пасхальное воскресенье.

Лосиный череп Глазырин положил в мешок и взял к себе домой: возможно, удастся по пулевым отверстиям определить, из каких ружей стреляли. А Павлику с Санькой, будто извиняясь, сказал:

— Дело темное. Все следы с растаявшим снегом в Таволгу утекли. Теперь об этом сохатом только печные чугуны да бродни из лосиной кожи рассказать могут. Поняли?

— Ага! — ответили приятели.

На третий день после «купания» Павлик Груздилов в школу не пришел. Учительница на первом же уроке заметила его отсутствие.

— А что это Груздилова сегодня нет?

Ученики молча переглядывались и пожимали плечами.

— Должно, обратно за Таволгу вплавь подался, — язвительно заметил Колька Суханов.

— Как это вплавь? — Марья Петровна посмотрела на Кольку с недоумением. — Что за шутки, Суханов?

— Груздилов, Марья Петровна, — сказал с места Санька Лихов, — что-то захворал. Был я вчера вечером у него. Да и сегодня забегал.

— Что с ним? — Учительница подошла к Санькиной парте.

— Жар у него, спасу нет. Щеки будто перцем натертые. Красные-красные. И губы все обметало. А дышит часто-часто.

Марья Петровна вернулась к своему столу. Громко побарабанив пальцами по его крышке, спросила Саньку:

— В медпункте он был?

— Что-о вы? Ему не смочь!

— А фельдшерицу на дом вызывали?

— Не-е. Я хотел сбегать, да мачеха не велела. Грит, ну ее к лешему, фельдшерицу. В избе не прибрано.

— Та-ак... — задумалась учительница. Потом снова обратилась к Саньке: — Ты, Лихов, сделаешь вот что.

Сейчас же побежишь в медпункт. Попросишь фельдшерицу, чтобы она немедленно навестила Груздилова. Ясно?

— Ага!

— Если она скажет, что некогда или еще что, передай: послала тебя я. Понял?

— Понял, Марь Петровна! — Санька мигом выхватил из парты свою фуражку и пулей вылетел из класса.

Урок продолжался, но как-то не так: Мария Петровна вдруг задумывалась, подходила к окну... Ребята отвлекались, перешептывались. Все ждали Саньку Лихова.

Санька вернулся через полчаса и сразу взахлеб затараторил:

— Значит, так... Фельдшерица к нему пришла. При мне дело было. Сперва вот тут, — Санька большим пальцем придавил пульс на левой руке, — за руку его подержала. Потом веки ему выворачивала. Опосля сквозь черную трубку в груди и на спине долго слушала. А напоследок, — Санька сунул руку под мышку, — градусник ему запихала.

— И что же? — спросила учительница.

— Болезнь, грит, шибко серьезная. Крупозное воспаление легких называется. Вот! — некстати бойко и весело закончил Санька.

— Только этого не хватало! — воскликнула Мария Петровна. — Значит, в Таволге он искупался! В такую-то пору? Как это получилось?

Все в классе посмотрели на Кольку Суханова, а он зачем-то под парту полез.

— Ну хорошо, сегодня я навещу Груздилова. Урок кончим пораньше, — сказала учительница. — Запишите домашнее задание. — Она улыбнулась. — Последнее в этом учебном году.

— Ура-а! — не выдержал кто-то.

...Вот ведь чудеса! Стоит закрыть глаза, и плывут стены избы, потолок поднимается все выше, и уже не потолок это вовсе, а небо со звездами... То вдруг стены раздвинутся, и Павлик видит поле, зеленое летнее поле, а по нему кони несутся, гривы ветер на сторону сбил. Бегут кони к Таволге, жарко им, сейчас чистой водицы напьются.

— Пить... — шепчет Павлик ссохшимися губами.

Открывает глаза — отец рядом, кружку с брусничным отваром протягивает.

— Пей, сынок. Поправляйся.

— Поправлюсь, тять, ты не переживай, — шепчет Павлик, а язык во рту толстый, будто чужой, еле ворочается.

И опять — небо в звездах, кони по зеленому полю мчатся, и голос чей-то знакомый...

Да это же Марья Петровна рядом на табурете сидит, проведать его пришла.

— Марья Петровна!.. И отчего это все кружится?

— Ты, Павлик, особенно не разговаривай. — Какой ласковый голос у учительницы! Совсем не такой, как на уроках, когда она новый материал объясняет. — Вот, лекарства тебе принесла: из района прислали, теперь поправишься быстро. И газету, «Пионерскую правду»... Полегче станет, почитаешь. — Марья Петровна кладет прохладную руку ему на лоб. — Жар у тебя, по-моему, спадает. К вечеру фельдшерица зайдет, померяет температуру. Все у нас будет в порядке. — И она улыбается Павлику.

— Марья Петровна! — говорит Павлик, — надо и ребятам «Пионерскую правду» почитать. Ведь как хорошо... если бы и у нас в Кедринке пионерский отряд был!

— Обязательно будет, Павлик! Все мы обсудим... Главное — скорее выздоравливай...

Уроков в этот день не было.

Марья Петровна поздравила учеников с окончанием третьего класса и, пожелав им отлично провести летние каникулы, сказала:

— Табеля ваши я раздам на родительском собрании и скажу, что нужно будет приготовить для занятий в четвертом классе. Не забудьте: родительское собрание сегодня в девять часов вечера.

Распрощавшись с учениками, учительница попросила остаться только Сеньку-Фенечку.

Сенька-Фенечка — это, как нередко бывает в школах, своя местная чудаковатая знаменитость. Интересно, что такое имя в Кедринке носит не один ученик, а сразу двое — Сенька Буреев и Кешка Башков, он же Фенечка. Это девичье имя к Кешке приклеилось в прошлом году вот по какому случаю.

Живет в Кедринке восемнадцатилетняя девушка Фенечка Глыбина. Кроме удивительной красоты, от которой многие парни не могут спать спокойно, Фенечка — великолепная певунья. Голос у нее чистый и высокий-высокий. Поет она так, что за целую версту ее узнаешь. Ни с кем другим нельзя было перепутать Фенечку Глыбину до прошлого года. Но вот однажды прошлой весной, во время гулянья на таволгинском мосту, сразу же после очередной пропетой Фенечкой частушки вдруг послышалось:

С неба звездочка упала
На туман и на росу.
А у Глыбиной у Фени
Бородавка на носу.

И хотя никакой бородавки на носу у Фенечки сроду не было, а была лишь симпатичная родинка, да и та рядом с носом, хохот гулявших парней, грохнув, переломился над Таволгой. Голос был — ну как две капли воды! — похож на Фенечкин. Но пропела-то не она: не стала бы она петь про себя такую частушку-подковырку!

Спел эту частушку Фенечкиным голосом Кешка Башков. Он же сам ее и придумал. Вот так и появилась в Кедринке вторая Фенечка, и к Кешке приклеилось это девичье имя. А Сенькой-Фенечкой Сеньку Буреева и Кешку Башкова прозвали потому, что они неразлучные дружки-приятели. Водой не разольешь. Сенька — лучший в школе художник, а Кешка сочиняет. Учителя даже советуют ему некоторые стихи и частушки в «Пионерскую правду» послать.

Сеньку-Фенечку Марья Петровна оставила затем, чтобы они на днях помогли бригадиру Александру Плотникову выпустить стенгазету к предстоящему колхозному собранию.

Вот уже битый час в груздиловской избе полным-полно ребят. Обступив лежащего на кровати Павлика, они как комарики толкутся, меняются местами. Говорят громко, наперебой. Заливисто смеются по всякому пустячному случаю.

Павлик, хоть еще бледен и щеки его ввалились, заметно повеселел. Карие глаза его постоянно улыбаются.

— Большое спасибо, ребята! — произносит он тихим радостным голосом, когда одноклассники начинают собираться: пора уже, давненько пришли. — Вот такое спасибо! — Павлик очерчивает руками круг над головой.

Все поочередно жмут ему руки:

— До свидания!

— Скорей поправляйся!

— Выходи побыстрей на улицу!

Последними прощаются с Павликом Санька и Марина. Павлик долго держит их руки.

— Ну, теперь я скоро поправлюсь, — уверяет он друзей, — уж теперь-то совсем скоро!

ПРЫЖОК САНЬКИ ЛИХОВА

Совсем потерял покой Санька Лихов: два года гвоздем сидит в его белобрысой голове одна идея. А появилась она уже давно...

Как-то летним утром, накупавшись до гусиной кожи, вылез Санька на крутой берег Таволги и улегся вверх животом на густую бархатистую травку. Не столько позагорать, сколько обогреться. Руки подложил под голову, шире раскинул ноги и уставился своими голубыми глазами в такое же голубое и ясное небо.

Ах, небо-небо, с белыми, как черемуховый цвет, облаками! Сколько мальчишечьих глаз манило ты к себе необозримой своей ширью! А сколько сердец трепетало при виде твоей бесконечной прозрачной выси!

Долго лежал Санька. Чуть было уж дремать не начал.

И вдруг до слуха его донесся густой басовитый гул. Небо чистое, вовсю припекает солнышко. И на́ тебе — гром. А может, трактор в колхоз приехал?

Да нет. Какой там трактор! Тудит где-то высоко, вверху.

А гул все нарастал, непривычно быстро приближался, и едва Санька успел вскочить на ноги, над ним стрелой пролетел аэроплан. Пронесся так низко, что Санька сумел разглядеть голову летчика в здоровенных очках.

— Аэроплан! — отчаянно, во все горло заорал Санька, в пять гребков перемахнул Таволгу, штаны с рубахой подхватил на лету и, не разбирая дороги, помчался в деревню. — Я видел аэропла-ан!

С того самого дня и потерял свой безмятежный мальчишечий покой Санька Лихов.

Пока ходил в школу — еще куда ни шло: уроки, домашние задания, то-се, пятое-десятое.

Но сейчас, летом... Летом мечта поскорей сделаться летчиком ни на один день не оставляла его.

Книжки о самолетах и летчиках, какие были в школьной библиотеке, перечитал. Марью Петровну о том же расспрашивал-перерасспрашивал. Что же еще?

«Что же еще-то? — сверлила светлую Санькину голову назойливая мысль. — Что бы еще-то придумать?»

И придумал.

Целую неделю в строжайшем секрете и от домашних и от мальчишек творил Санька свое дело. На улице не показывался. Где пропадал, никто и знать не знал. С Павликом Санька поделился бы своей тайной, только он все еще дома, по-настоящему не поправился. А там только шепни, Полька сразу уши навострит.

Наконец все прояснилось.

Около полудня сонную деревенскую тишину всполошили пронзительные крики. Стайка парнишек, точно вихрь, с шумом неслась по улице, взметая темную полосу пыли.

Вихрь докатился до середины Кедринки.

Круто повернув, мальчишки с ходу распахнули калитку лиховского дома, ворвались в ограду, и, перебивая друг друга, разноголосо закричали:

— Дедушка Матвей!

— Бабушка Варвара!

— Цыц, вы, орава полоумная! — высунулся из окна дед Матвей. — Чего балабоните?

— Ваш Санька разбился!

— Утоп и разбился! Насмерть!

— Сдурели, шантрапа голопятая! — замахнулся на мальчишек батогом дед Матвей. — Чего мелете? Говорите толком, что случилось?

А случилось вот что.

Вытащив потихоньку из материнского окованного

сундука две полотняные простыни, Санька в течение целой недели тайно комбинировал из них парашют. Делал он это осмотрительно и осторожно. Особенно опасался вездесущей бабки Варвары.

К вчерашнему вечеру все у него было готово. Честь по чести!

Сегодня на травянистом берегу Лукерьиного омута к полудню собралось больше десятка кедринских мальчишек, Санькиных приятелей. Вчерашним вечером, в сумерках, Санька сам, крадучись, шастал по домам и, выманивая пацанов на крыльцо, заговорщическим шепотом оповещал:

— Завтра к обеду будь на Лукерьином омуте. Не пожалеешь!..

На самом берегу омута стоял огромный, в три обхвата, кедр.

За многие десятки лет берег потихоньку опускался, кедр наклонялся, и теперь вершина его, щедро усыпанная шишками, приходилась как раз над самой серединой омута.

Санькины дружки расселись метрах в двадцати от кедра с таким расчетом, чтобы середина омута хорошо просматривалась.

— Ну, я подался! — Санька обеими руками поднял над головой свое «изобретение». — Видали? То-то!

— Ни пуха ни пера, Санек!

— К черту! Поняли?

Толстые мохнатые сучья, как это обыкновенно бывает у одиноко растущих кедров, начинались от самой земли. И стоило Саньке подняться по стволу на полтора метра, как мальчишки потеряли его из виду.

Теперь они, задрав головы, тихо переговаривались. Время от времени кто-нибудь из них громко бросал в непроницаемую кедровую хвою нетерпеливый крик:

— Ну что, долез?

— Не-а... — глухо доносился оттуда Санькин голос.

Молчание.

— А теперь, Санек?

— Теперь, должно, скоро...

Снова молчание.

— Все... Уже! — наконец кричит запыхавшийся Санька, и сразу же из зелено-бурой хвои высовывается сперва его «парашют», а потом и белобрысая голова. Санькина голова отсюда, от земли, кажется совсем малюсенькой: высоко забрался парашютист!

Постепенно и «парашют», который Санька держит в поднятой правой руке (левой он цепляется за сучья, чтобы не полететь раньше времени), и голова, а потом и Санькина грудь высовываются из косматой хвои.

— А шишек-то — обсыпано, — сиплым, сухим голосом сообщает Санька.

— Кинул бы парочку, а? — просит самый маленький из наблюдателей.

— Замолчь, ты... И брякнет же! — набрасываются на него товарищи.

Санька осторожно ступает по доске. Доску эту он вчера с превеликими муками заволок на кедр. Надежно пристроил между двумя сучками с таким расчетом, чтобы свободный конец ее чуток высунулся из-за сучьев. Для верности «пришил» доску гвоздями.

— Смотрите все! — теперь уже хорошо слышится Санькин голос. — Иду на прыжок!

— Са-ань! Страшно, поди?

Санька не отвечает.

— И нисколь ему не страшно: с парашютом же.

— С парашютом-то и я бы!

— Ты-ы? Молчи уж, зря-то не болтай!

Над омутом зависает такая тишина, от которой в ушах стоит звон, а по спине пробегают мурашки. Санькины дружки-приятели замерли. Глаза и рты их раскрыты до предела. Они отлично видят, как Санька осторожно начал делать приседание.

— Да уж прыгал бы, что ли!..

— А ты не дрожи!

— Вдруг разобьется в лепешку? — вырывается у кого-то шепот.

И... вот оно!

Санька, подбросив вверх «парашют», что было сил оттолкнулся ногами от доски. Она противно заскрипела: видать, повылезали гвозди — и подалась вниз.

Мелькнуло сжатое в темный комок Санькино тело. Полыхнуло над ним белое. Потом белое заметалось с хлопаньем из стороны в сторону. Не успели мальчишки перевести дух, как внизу, в самой середине Лукерьиного омута, взметнулись золотистые искры брызг. Взметнулись и тотчас же накрылись вздувшимся белым пузырем. Секундой-другой позже рядом с пузырем кособоко плюхнулась в омут доска, уйдя до половины в воду.

— Раз... Два... Три... Четыре...

Дернувшись, белый пузырь свалился набок...

— Пять... Шесть... Семь...

— Санька утоп! — полоснул в тишине чей-то визгливый голос.

— Разби-ился Санька! — завопил еще кто-то.

И самые заполошные метнулись, стуча задубевшими босыми ступнями, в деревню...

Но не разбился и не утоп Санька.

Вынырнув из воды, он громко отфыркался и почудному, боком-боком, медленно поплыл к берегу.

Оставшиеся мальчишки бросились к нему навстречу. Когда он подплыл к самому берегу, протянули ему руки и резко, одним махом, выдернули «парашютиста» из воды.

— Тише вы... — взвизгнул Санька. — С ногой что-то.

Мокрый, вздрагивающий, он опустился на траву и, стуча зубами, вытянул правую ногу:

— И что с ней такое? Доской, должно быть...

Мальчишки, сгрудившись, наклонились над Санькиной ногой. Санька несколько раз мотнул влево-вправо головой, чтоб из ушей вылилась вода и, повернув к приятелям бледное, в крупных каплюшках воды лицо, засмеялся:

— А ведь он сработал, холера! Хоть под самый конец, а раскрылся!

На дворе собиралась гроза. По-над кедрачом, с той стороны Таволги, глуховато погромыхивая, будто колхозный кузнец Голубев перебирал листы жести, наползала иссиня-черная туча. В избе быстро темнело. Санька сидел у окна на лавке и ел с блюдца малиновое варенье, которое бабка Варвара достала из подпола. Сперва, когда Саньку принесли, она раскричалась:

— Вот-вот! Чуяло мое сердце. Не я ли говорила — достукаешься, голубчик? Это нечистый тебя, лупоглазого! Бога не признаешь, вот нечистый за тебя и взялся.

Потом, подоткнув юбку, кряхтя и охая, бабка слазила в подпол, достала из неизвестного Саньке тайничка обливной кувшинчик. Сдула с него годовую пыль, развязала заскорузлую бумажную накрышку:

— Ешь, оглашенный. Малиновое варенье не просто сладость да баловство. Оно от многих недугов-болестей... Кушай, сердешный. Поди-ка, шибко больно?

— Да так себе, — облизнулся Санька, хищно поглядывая на заветный кувшинчик.

И вот он сидит у окна на лавке и слизывает с блюдца варенье. Вытянутую правую ногу положил пяткой на подставленную бабкой табуретку. Нога с двух сторон зажата в деревянные дощечки и туго перебинтована. За этим «сладким» занятием и застал его Павлик. Покачав головой, пощекотал холодноватыми пальцами припухшую подошву Санькиной ноги:

— Больно?

— Не-а! Чешется только.

Санька сразу заметил, как изменился за время болезни его друг: побледнел, осунулся, скулы выпирают, нос заострился. Только одни глаза те же: карие и ясные глаза у Павлика.

— Закрытый перелом. Во! — мотнул Санька подбородком, вымазанным вареньем, на бинты. — Фельдшерица так и сказала: «закрытый перелом».

Павлик присел на лавку рядом с Санькой. Тот прищурил левый глаз и заморщинил лоб, что он обыкновенно делал во время решения головоломных задач — старался определить, как относится Павлик к его «подвигу»: осуждает или оправдывает?

— Ну ладно, — примирительно проговорил Павлик. — А что дальше?

— А дальше — в Агуйдетскую районную больницу. В гипс, говорит фельдшерица, замуруют. Аж до сих пор! — Санька отмерил рукой полбедра.

— И надолго?

— Порядочно. Самое малое, говорит, недельки на три. А то и побольше. Вот здорово!

— Спятил, что ли, Санек? — удивился Павлик.

— Я-то? Ни капельки! Когда бы я еще в Агуйдет попал? А теперь раз-два — и тама. Сегодня на председателевом ходке повезут. Во!

— Ну и «парашютист» ты! — все-таки укорил друга Павлик, стараясь быть серьезным и строгим, хоть в глазах его и таилась улыбка. — Чистое чудо-юдо самовар! Мог разбиться — и костей бы не собрали... Думать надо!

— Хе-хе! — легонько толкнул Санька Павлика ладонью в плечо. — Думать! А ты в том году в пихтаче много думал? А?

В конце прошлогодней весны Павлик, Санька и еще несколько мальчишек ходили в пихтач за лапником —



укрывать от заморозков огуречные лунки на навозных грядках. По дороге разговорились о работе кедринских парней на пихтовом заводе. Вспомнили и об ухарстве Кольки Сырцова, старшего Алешкиного брата. Он заготовлял пихтолапку и, чтобы не терять времени, приспособился перебираться с одной пихты на другую, не опускаясь на землю. Доберется до вершины одной пихты, обрубив до коротеньких культяпок пихтовые сучья, хорошенько на самой макушке раскачается и, ровно белка-летяга, махнет на другую пихту. Таким макаром и орудует чуть ли не целый день, если пихтач попадется не очень редкий.

Поговорили по дороге мальчишки про Кольку и, войдя в пихтач, забыли: занялись делом. А Павлик не забыл.

— Парни, гляньте, как Николка Сырцов делает! — крикнул он дружкам. И, раскачав верхушку пихты, на которую забрался, метнулся на соседнюю лесину. Дух перехватило у пацанов, когда он картофельным кулем закувыркался вниз по мягкой хвое. Только метра за три от земли сумел Павлик уцепиться за надежный пихтовый сук. А то бы несдобровать ему!..

— Долго думал, а? — подмигнул Санька своему другу. — А я все ж таки не как попадя, а с парашютом!

— Тоже мне, нашел парашют!

— А что? — загорячился Санька. — Он сработал! Только у самой воды. Надо было повыше забраться!

— Эх ты, чудо-юдо самовар!.. Ведь теперь все мои планы побоку. Я же хотел с тобой одно важное дело провернуть...

И Павлик рассказал Саньке о том, что участковый Глазырин по пулевым пробоинам в лосином черепе определил: сохатого убили не из обыкновенного ружья, а из боевой винтовки либо из винтовочного обреза. Выходит, у кого-то в деревне такая штуковина имеется.

— Дело-то, Санечка, нешуточное... А еще недавно слух прошел, будто бы видели, как в Гнилой Ляге, в самой глухомани, ночами огонек какой-то объявляется: мелькнет раз-другой — и нет его. Ровно сквозь землю провалится.

— Да врут, поди, — махнул рукой Санька. — Бабушкины сказки все это.

— Может, и врут. А может... Проверить бы не худо. Покараулить разок-другой, — тихо, точно самому себе, проговорил Павлик и, строго взглянув на Саньку, упрекнул его: — А ты взял да и вон что устроил.

— А что делать? — вскинул свои пшеничные брови Санька. — Учиться в школе кончили? Кончили. Ты вон сколь долго болеешь... Скучища голимая. От такой тоски не то что в Лукерьин омут, в колодец сигануть потянет. Во!

В душном полумраке избы сквозь окна огненными снопами полыхнула молния. Над самой крышей точно лопнул небесный литой купол, переломисто трахнул оглушительный удар грома. Вместе с удаляющимися его перекатами по стеклам забарабанили крупные капли дождя.

— Вот дало так дало! — вздрогнув, весело проговорил Санька.

— Грохнуло что надо! — согласился Павлик и добавил: — А что скука у нас летом — это чистая правда, Санек, не то что у других... Вон как в «Пионерской правде» пишут... Это живут ребята! Отряды, лагеря летние... Походы, кружки разные. Здорово, правда?

— Авиационные модели летающие сами пацаны делают, — вместо ответа с завистью вздохнул Санька.

— Так вот, Саня... — глаза Павлика заблестели. — Мы уже говорили с ребятами: хорошо бы нам в Кедринке свой пионерский отряд организовать. Представляешь? А? Знамя, горн, барабан!

— И красные галстуки! — подхватил Санька.

— А знаешь что? — резко встал Павлик.

— Ну?

— Я сейчас же прямо к Марье Петровне. Расспрошу насчет пионерского отряда. Посоветуюсь. Потом, если что, и в район...

В избе, будто ранним утром, делалось все светлее и светлее: вдосталь нагулявшаяся над Кедринкой туча свалилась за Большой лог. Дождь переставал. Порывы капель все реже и реже постукивали в окна.

— Вот это бы да! — насколько мог, раскрыл голубые глаза Санька. — И меня бы в больнице навестил попутно.

— Навещу, Санечка, обязательно навещу!

«Чудо-юдо все-таки этот Санька! — думал Павлик, торопливо шагая к школе, где жила Марья Петровна. — Ногу сломал — и хоть бы хны! Даже радуется еще, что Агуйдет увидит... Хм... И о пионерах мечтает, как и я... Чудно только, что ему винтовочный обрез да слух про огни в Гнилой Ляге пустячным делом кажутся. Видно, думает, что нет на свете плохих людей... Пожить бы тебе, Санечка, с моей мачехой-жужелицей, живо бы понял: есть и такие, что только свое брюхо и знают. И из-за него готовы другим горло перегрызть. А все-таки Санька мировецкий парень!»

ПОСЛЕ КОЛХОЗНОГО СОБРАНИЯ

Марья Петровна встретила Павлика на крыльце.

— А я тебя в окно увидела, — сказала она приветливо. — Заходи, заходи, Павлуша. Ты, я вижу, совсем поправился.

Павлик нерешительно потоптался у двери, но учи-

тельница взяла его за плечо и легонько подтолкнула в комнату.

— Сейчас чаем тебя угощу, с пряниками. Иван Иванович из района привез.

Павлик любил заходить к учительнице. Дома она всегда ласковая, веселая, совсем не строгая.

— У тебя ко мне дела, Павлик? Рассказывай, какие новости, — спросила Марья Петровна, ставя перед Павликом красивую яркую чашку с ароматным чаем.

— А я только от Саньки Лихова, навестил дружка. В Агуйдет собирается, в больницу...

— Да, обидно за Саню, — неодобрительно покачала головой учительница, — устроил себе каникулы. Только, вижу, не это главное у тебя ко мне, а, Груздилов?

Такая уж Марья Петровна. От нее никогда ничего не скроешь. Посмотрит — словно твои мысли читает.

— Да, — несмело начал Павлик. — С Санькой мы сейчас толковали... Вот уже двенадцать лет исполнилось пионерии, а в нашей школе все-то еще нет пионерского отряда. — Павлик вздохнул. — Как же это так, Марья Петровна?

— Ты прав, Павлик, — проговорила задумчиво учительница. — Только вот в чем беда наша. Школа у нас начальная, маленькая. Ребят пионерского возраста раз-два — и обчелся. Должность пионерского вожатого не положена по штату. А как же пионерскому отряду без вожатого? Я не раз уже обращалась в райком комсомола. Говорят, надо подождать.

— Да нам бы, Марья Петровна, только начать помогли, — живо проговорил Павлик. — В пионеры бы нас, как положено, приняли... А дальше мы бы уж сами!

Павлик даже вскочил от волнения.

— А может, меня пошлете, Марья Петровна? Не думайте, я справлюсь, обязательно справлюсь! Вы только

скажите, к кому зайти. Я попрошу от имени всех наших ребят.

Павлику так хотелось убедить учительницу, и это ему удалось.

— Хорошо, Павлик, поедешь. Лучше всего поговорить с первым секретарем Борисом Павловичем Ельневым. Он, думаю, тебе не откажет...

Марья Петровна встала из-за стола и подошла к Павлику:

— Вот только окрепнуть тебе маленько надо... после болезни. На той неделе Иван Иванович, возможно, поедет в райцентр, так и ты с ним.

— Ничего, Марья Петровна, я совсем здоров, хоть на медведя. Ждать попутной не буду, я и пешком дойду.

Марья Петровна на четвертушке тетрадного листа записала фамилию, имя и отчество первого секретаря райкома комсомола. Рассказала, как и где разыскать его в Агуйдете.

Перед тем как распрощаться с Павликом, учительница вспомнила, что вчера вечером к ней приходила Марина Махова с подругами. Девочки жаловались на Фильку Подлогаева: едва успел возвратиться в Кедринку — сразу принялся разорять утиные гнезда.

Марью Петровну Филькин «промысел» особенно возмущает своей жестокостью: из утиных яиц вот-вот должны вылупиться птенцы.

Павлику вдруг вспомнилось, как однажды с Санькой Лиховым они наткнулись в тальниках на утиное гнездо. Серенькая чирушка, затаившись, подпустила их так близко, что Санька чуть не наступил на нее. Боялась, должно быть, их чирушка. Страшно ей, бедненькой, было. А с гнезда не слетела! Больше боялась, наверно, застудить гнездо, яйца: очень уж холодный день стоял тогда. Они с Санькой потихонечку-потихонечку попятились назад. Чирушка так и осталась сидеть на



гнезде. Вот отчаянная! Настоящая мать... А Филька сцапал бы и ее, а яйца бы домой в фуражке уволок...

— А он вообще, — выдохнул Павлик, — этот Филька, сам безобразит, да и других подбивает... Наверно, потому что его отец из раскулаченных.

Учительница наклонила голову и медленно проговорила:

— Ну, это, видимо, Груздилов, не поэтому... У нас в деревне, ты же знаешь, немало таких... Сосланных... А ведь теперь все они в колхоз вступили. Большинство живут как надо. Работают на совесть... Да и дети многих раскулаченных тоже... Возьмем Марину Махову или других... Что они, плохие ребята?

— Что вы, Марья Петровна, — спохватился Павлик, — она мировая, Маринка-то! Да и другие... В общем, мы разберемся с Филькой Подлогаевым, — пообещал Павлик. — Если что, ему не поздоровится!

— Только без драки, Груздилов. Хорошо? — сказала Марья Петровна, но уже строго, как на уроке.

В этот вечер, лежа на полатях, Павлик долго не мог заснуть. Да разве уснешь, когда перед глазами проходят невиданные картины.

...Летнее утро. Солнечно. Тепло. Тихо-тихо. И вдруг: тра-та-та-та, тра-та-та-та! Кедринские старики и старухи, малышня выглядывают из окон, высыпают на улицу из калиток. Вдоль деревни строем идут пионеры. Впереди шагает он, Павлик Груздилов. В руках у него алое знамя. А рядом Санька Лихов в горн трубит. Все пионеры в красных галстуках. Загоревшие, радостные.

Дух захватывает, как здорово!..

...Вот уже и отец возвратился с колхозного собрания. Осторожно притворил дверь, вытер в темноте ноги о плетеный тряпичный кружок. Прошел, поскрипывая половицами, к столу. Зажег керосиновую лампу. Вернувшись к порогу, устало опустился на стоящую у

печки табуретку. Начал разуваться. Сняв бродни, ощупал у них головки и подошвы.

Потом, шлепая босыми ногами по полу, он прошел к столу. Снял марлю, прикрывавшую оставленный ему ужин, и принялся есть. Как всегда, он жует медленно. И легонько почавкивает.

Павлик терпеть не может, если за едой чавкают. А когда это делает отец — ему приятно, значит, ест с аппетитом, проголодался.

Павлик слышал, что мачеха не спала, ворочалась. А тут как будто только проснулась, хитрюга.

— Сколь время-то будет? — спросила, громко зевая.

— Первые петухи уже пропели.

— У-у! Что-то долго сегодня на собрании... Новенького-то хоть чего сказали?

— Дак все новенькое. Кто станет в летнее время по-пустому-то растабаривать.

Мачехе, хоть она и не охотница, как заявляет сама, «по собрашкам» ходить, не терпится узнать последние колхозные новости:

— Про что говорили-то, Емельян?

— Про разное... многое.

И так же медленно, как ест, Емельян Степанович начинает рассказывать... Сперва подвели окончательные итоги весенней посевной кампании. Недовольно крякнув, замечает:

— Замешкался наш колхоз в нынешнем году с севом. Много припоздал. Ладно как лето с дождями будет. А то и без хлеба остаться можно.

Потом перечисляет ударников, фамилии которых решено на Красную доску занести, — называет Маховых, Сырчиху, деда Саньки Лихова.

— А тебя как же? — интересуется Настасья.

— Меня нынче нет, — отец смел скрюченной ладонью со столешницы хлебные крошки и бросил их в рот. — Чуток не дотянул.

— А опосля про что?

— Потом говорили про отстающих. Которые на «черной доске» красуются... Сродственничков твоих, братовьев, с песочком прочистили.

Настасья привстает на кровати, упирается локтем в козырек:

— Их-то за что?

— А за дело! — Отец бросил в пустую глиняную миску деревянную ложку. Обыкновенно глуховатый и ровный голос его зазвучал громче и выше: — Все больше на своем гектарном огородище гужуются. И скота уйму развели, все мало...

— О, господи! Али жалко? — Настасья резко хлопнула ладонями. — Сами ведь обхаживают. Не работников же нанимают. Вот зависть-то человеческая!

— Зависть здесь ни при чем! — строго возразил отец. — Свое-то личное знай, да не забывай и про общественное. Вот этак, слышь! — Голос его, всегда спокойный, сделался резким и сипловатым. Да и говорить он начал быстрее. — На артельской земле живешь — не на божьей... А братовья твои, видать, про это и думать забыли. Вида-ать!

Мачеха умолкла.

Отец склонился над столом, опершись на кулак, тоже молчит, а может, задремал?

Не знает Павлик, что отцу в который уж раз подумалось о тех больших переменах, которые произошли в их деревне и в односельчанах со дня образования колхоза.

О первом времени артельной жизни сейчас без смеху и вспомнить нельзя. И смех и грех, как говорится...

Мимо дома Лиховых на их бывшем Бурке попробуй только рысью проехать! Живо дед Матвей за ограду выскочит, размахается батогом и примется костерить на чем свет:

— Куда гонишь, дура? На тот свет, можа? Конь Бурка тебе не рысак орловский. Он чижаловоз! На мохнатые его ноги глянь, слепондырец! Или в лупырях застит?

Да разве один дед Матвей по своему бывшему Бурке-коню тосковал попервости?

И самого его, Емельяна Груздилова, тоска-скука по прежнему единоличному добру изрядно мытарила. Доходило до того, что, бывало, встанет по весне ни свет ни заря да бежит на бывшие свои полосы: хорошо ли пропаханы — проверит, нет ли на них прогалызин-огрехов? Горевал, что бригадир Шурка Плотников его на пахоту в другие места наряжал. «Чужим-то, — думал-убивался тогда Емельян Степанович, — какое дело до землицы, семь раз политой его, груздиловскими, слезами да потом!»

Чудно, а ведь было же, было такое!

Теперь того и в помине нет. Сейчас от единоличной собственности только и осталось, что одни названия: «Дьяконова грива», «Комаровы покосы», «Кулыгихин пустырь». Все стало одинаково своим — артельным. И работают-пластаются везде, во всех местах колхозники в страдные поры — аж душа радуется! Не от бога же, в самом деле, на запущенном по немощи бывшей хозяйкой Кулыгихином пустыре нынче овес «Золотой дождь» прет такой гущины, что кол вбить — голого места не выберешь!

Да и души людские много лучше сделались. Веселее стали жить кедринцы, открытее. Все у всех на виду — радости и печали, кто рвется к работе, а кто отлынивает. От прежней зависти, крапивы жгучей, и следа не осталось. Теперь, может, только и вздыхают, если во второй бригаде быстрее, чем в первой, отсеются или отсилосуются. Дак это какая же зависть? Это ученым словом «соцсоревнование» называется...

— Кто ж их пощипал-то, Никиту с Василием? — осторожно, вкрадчиво спрашивает Настасья, перебивая раздумья Емельяна Степановича.

— Многие... Председатель колхоза да Шурка Плотников. Еще Сырчиха, соседка ихняя. И в стенгазете обоих ловко протянули. Разукрасили — мать родная не узнает. А узнает, дак не шибко обрадуется... И стишок придумали — не в бровь, а в глаз!

«Сеньки-Фенечкина работа!» — с гордостью за своих друзей подумал Павлик.

— Надо же! — расстроилась Настасья и со злостью добавила: — Уж Сырчиха-то хоть бы не совалась, рвань несчастная!

— Во-во! — вскинулся отец. — В колхозе баба работает, почитай, лучше всех, а с хлеба на воду с детями перебивается. Братовья ж твои на артельную работу плюют с верхней полки, а живут себе — в ус не дуют.

— Уметь надо! — отрезала мачеха.

Частенько она отцу эти слова повторяет. Особенно в последнее время.

— Это смотря как и что уметь. Разобраться еще надо.

Отец протопал к кровати и, укрываясь одеялом, проговорил:

— От старых, кулацких, замашек отвыкнуть, видать, не могут. К которым, видно, эта короста шибко прилипчива.

— Хм! «От кулацких замашек»! — хмыкнула мачеха. — Сколь годов прошло, а все ишшо не забывают... Ты, можа, и меня скоро так же честить почнешь? Я ведь тоже из раскулаченных. Иль запамятовал?

— Не про тебя разговор, — глухо прозвучало из-под одеяла.

Отец помолчал. И уже спокойнее добавил:

— А еще на собрании постановление вынесли. Школьников, которые постарше, на прополку зерновых

наряжать будут. Скажи завтра об этом Полине с Павлом... Слышь, что ли?

— Не глухая, — буркнула мачеха, а про себя подумала: «И придумают же окаянные. Ребятишек мучить. Нет уж! Твой пусть валандается. Таковский. А Польку я не пущу. Еще успеется».

Окончания разговора отца с мачехой Павлик не слыхал. Он начал засыпать, забываться.

«А про пять компасов-то, которые в школе из учительской пропали... я у Марьи Петровны... и не спросил... Надо же...» — смутно подумалось ему.

СЛУЧАЙ ПОЧТИ НЕВЕРОЯТНЫЙ

«Где тонко, там и рвется», — говорит русская поговорка.

Вечером, когда густели сумерки, через мост из-за Таволги хозяйские коровы мчались, задрав хвосты, словно очумелые. Они не мычали, как обычно, а трубили дикими голосами.

— Что это сегодня с ними приключилось? — дивились кедринцы.

Сырчихина красно-пегая Апрелька, едва добежав до ворот дома, упала, подвернув голову. И — сдохла.

Собравшиеся мужики и бабы гадали недолго: из верхней части шеи полукругом почти напрочь был вырван здоровенный кусок.

— Медведь задрал!

Хозяйские коровы в Кедринке обычно во время травяного раздолья ходили без пастухов. Корму за рекой полным-полно. Выпас на той стороне Таволги далеко — около трех километров.

Что задрал Апрельку медведь — ясней ясного. А вот где он ее, бедолагу, настиг, попробуй-ка определи. В какой чащобе затаился, откуда беды ждать?

— Недалеко, должно: до дому все-таки добежала.

Мужики, отойдя от ограды, расселись на полянке и закурили.

— Бедная Сырчиха-а! — запричитали бабы. — Как же она теперь без коровы-то? Орава ведь у нее...

Да! Где тонко, там и рвется.

Среди кедринских мальчишек-ровесников Петька Комаров, можно сказать, находился на привилегированном положении. У него давно уже появилось собственное ружье — тульская одностволка двадцатого калибра. Поэтому весной и осенью в свободное время, когда его сверстники сидят по домам или бесцельно слоняются по улице, Петька при деле: то уток матери натащит, то рябчиков, а иногда и глухаря даже. Богата кедринская тайга дичью.

Но сейчас, в июне, какая охота? Теперешняя охота называется браконьерством. Не таковский парень Петька Комаров, чтобы сидящих на гнездах уток бить или подстрелить вылинявшего косого!

А по одностволке своей он стосковался. Целый учебный год дома, считай, не жил — только на воскресенья приходил из Агуйдета.

Вот и надумал Петька, собираясь проверить поставленные вчера вечером жерлицы, захватить с собой ружье и где-нибудь в глухом месте пострелять в цель. Меткость свою проверить. Снарядил мелкой дробью пяток патронов и отправился за деревню вверх по Таволге.

Рыбалка выдалась у него не то чтоб очень удачливая. А все-таки три щучки на волосяном кукане через плечо, ровно тоненькие полешки, болтаются. Перед возвращением домой решил Петька пройти еще по-

дальше — подходящее место для стрельбы в цель выбрать.

Идет он, продираясь сквозь частый кустарник, извилистой тропкой вдоль берега. Идет — не нарадуется! Любо Петьке в тайге, над речкой Таволгой. Благодать какая! Тепло, свежо, зелено. Пахнет черемшой и пихтовой хвоей. Кусты шиповника усыпаны бледно-розовыми лепестками. То здесь, то там малиновыми огнями полыхают крупные цветы марьиного корня. Легко дышится в тайге в такое время! И тихо-тихо...

Вдруг ни с того ни с сего ошалело затрещал валежник. Что-то затопотало, рявкнуло, и из густого пихтача выскочил... медведь.

Не успев толком ничего сообразить, не успев даже по-настоящему перепугаться, Петька вскинул ружье и — бах-бах! — выстрелил в остроносую медвежью морду. Мелкой-премелкой дробью-бекасинником ударил. А у самого от страха ноги отнялись. Бежать бы надо, а он шагу ступить не может. Ладно еще, что медведь на него не бросился. Только заорал по-страшному. Широченный лоб передними лапами царапает и орет. Потом ткнулся мордой в траву и давай с ревом на одном месте кружиться.

Тут только и опомнился Петька. Побросал своих щук и, как испуганный лось, не разбирая дороги, пустился наутек... Быстрей в Кедринку, к людям!

Когда уж чуть ли не до самой мельницы добежал, на шаг перешел.

«С чего бы он так-то? — дивился Петька. — Охотники сказывают, что от раненого медведя пощады не жди. Вмиг волосы на затылке вместе с кожей сдерет! Врут, что ли, люди?..»

— Дак, ты говоришь, мелкой дробью стрельнул? — спросил мельник, дядя Еремей, когда запыхавшийся Петька, глотая слова, поведал ему эту необычную историю.

— Да. Бекасинником.

— А на сколь шагов будет?

— Шагов, может, на десять. Или чуть-чуть побольше.

— Тогда, паря, ясно! — уверенно заявил мельник. — Ты ему, косолапому, гляделки, значит, выхлестал. Повезло тебе, паря! Теперь его голой рукой взять можно. Куда он безглазый-то годен? Вот он и зачнет теперь на одном месте кружиться.

— Да ну? — удивился Петька.

— Верно слово! Ты вот что, паря, — загорячился дядя Еремей. — Ты дуй в деревню. Шумни мужикам — и в лес. Слышишь?

— Слышу, слышу, — на бегу крикнул Петька. И тотчас же спохватился: — «А где я их найду, мужиков-то? Они же все в поле. День ведь».

Недалеко от мельницы, ниже по течению, на мелком песчаном перекатике, Павлик Груздилов удил пескарей.

— Ты откуда это? — крикнул Павлик, завидя бегущего Петьку.

— По-нимаешь, т-тут такая штуковина... — заикаясь, стал объяснять Петька. — Я м-медведю глаза выбил!

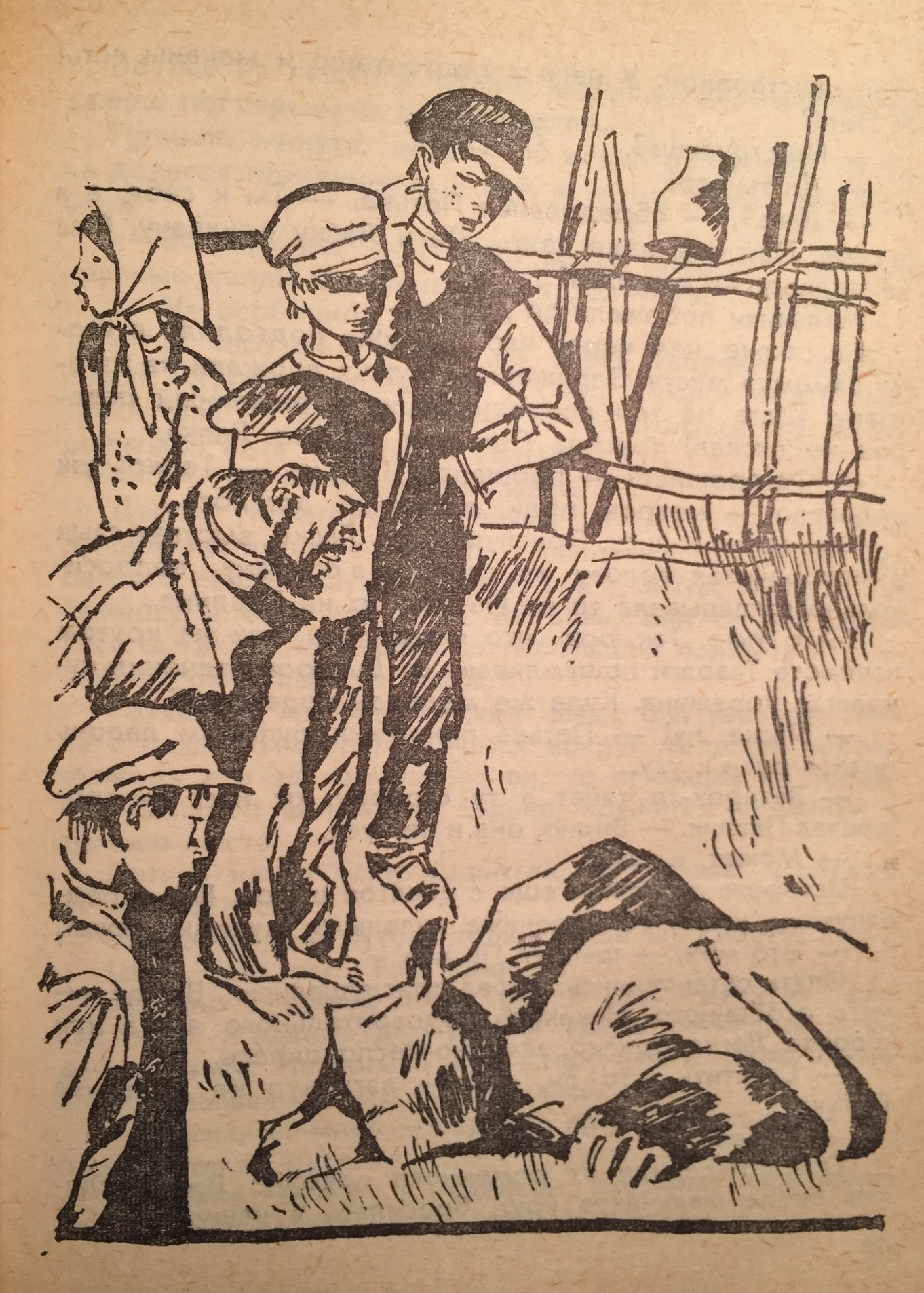
— Что ты мелешь? — засмеялся Павлик. — Какому еще медведю, чудо-юдо?

— Обыкновенно какому... п-правдашному. Ей-ей, не вру!

И Петька повторил рассказ о своей встрече с медведем.

— Дядя Еремей говорит, что его теперь запросто взять можно, слепого-то!

— Петь! — Павлик выскочил на берег. — А что, если мы на него с тобой вдвоем сходим? А? Я с отцов-



ской двустволкой. У него в патронташе и жаканы есть! А, Петя?

— Не струсишь?

— Да ты что!

— Давай, — обрадовался Петька. — Ты к себе, а я к себе. Патроны надо взять. Да и Ласку прихвачу. Она на медведя во как идет!

Мальчики побежали по домам.

Не позже чем через час они уже подходили к «тому самому» месту. Заряженные ружья держали на изготовку. Шага на три впереди (дальше ременный поводок не пускал) трусила Петькина собака Ласка.

— Осторожнее! — прошептал Петька. — Теперь уж недалеко — метров, поди, пятьдесят осталось...

Они остановились. Прислушались. Ласка, высунув язык и поворачивая голову из стороны в сторону, вопросительно взглядывала то на Петьку, то на Павлика.

Было тихо. Так тихо, что слышалось, как на крутом извороте Таволги пошумливает от быстрого течения суковатая коряжина. Куда же медведь подевался?..

— Ласка, ну! — Петька приложил рупором ладонь правой руки к уху.

— Ветерок-то тянет в ту сторону, от нас, — прошептал Павлик. — Видно, она и не чует.

— Может, и так...

Осторожно ступили еще с десяток шагов. Вот и подвянувшие щуки, облепленные зелеными мухами, лежат.

— Это мои, — шепнул Петька.

Опять остановились. Снова прислушались... Вроде ничего особенного. Никакого подозрительного звука или шороха. Ласка, однако, заметно беспокоилась.

— Спустить, что ли, ее? — взглянул на Павлика Петька.

— Давай!

Освобожденная от ременного поводка Ласка, сделав около мальчиков круг, бросилась в чащу.

Застыв на месте и затаив дыхание, охотники выжидающе поглядывали друг на друга.

Прошла минута, другая. И вдруг из густого пихтача донесся приглушенный лай, а вслед за ним рев медведя.

— Во музыка! — Петька вытер рукавом на лбу крупные капли выступившего пота. — Не страшно?

— Не особенно... вроде.

— А чего бояться, — не очень уверенно подбадривал Петька товарища, а у самого голос будто надтреснутый. — Кабы он видал. А то... Только, чур, не торопиться! Бить наверняка. Понял?

— Я-ясно, — отозвался Павлик.

Держа указательные пальцы на спусковых крючках ружей, приятели осторожно двинулись в сторону собачьего лая. Бесшумно огибая ели и пихты, забирая понемногу влево, подальше от реки, они скоро оказались шагах в пятнадцати от небольшой полянки, поросшей высоким папоротником.

Раздвинув мягкие пихтовые лапы, они увидели: Ласка с отчаянным лаем мечется вокруг медведя, норовя ухватить его за «штаны», а он, то припадая на передние лапы, то вставая на задние, кружится на одном и том же месте.

Петька начал было целиться, но Павлик шепотом остановил его:

— Давай еще чуток поближе. Он же слепой.

Шаг... Еще шаг... Еще один.

Дружно сдвоили, почти раз в раз грохнули два выстрела. Медведь дернулся и ухнул, ткнувшись мордой в траву. Несколько раз вздрогнул и затих. Ласка набрасывалась на него, бесновалась.

— Ласка, ко мне! — сердито крикнул Петька. — Теперь покоя не даст.

Привязав собаку к осинке, охотники принялись осматривать да ощупывать свою добычу.

— Зда-аровый, дьяволина!

— Глянь-ка, а пятки-то! Как у человека. Только грязные шибко...

— Вот отмочили дак отмочили! Ха-ха-ха! — во все горло захохотал Петька и мешком повалился на притоптанную траву.

— Чистое чудо-юдо! Ха-ха! — отозвался Павлик.

— А теперь признайся. — Петька перестал смеяться. — Трухнул ведь? Только, чур, честно. Без вранья!

— Чуток было, — сказал Павлик.

— То-то! Да и я тоже. Чего уж!

Что делать с медведем дальше, охотники решили быстро. Сейчас пока его надо понадежнее прикрыть пихтовым лапником да хворостом, чтобы кто-нибудь случайно не сбаловал. А вечером, когда мужики с работы вернутся и лошадей пригонят, увезти в деревню.

Наломали разлапистых пихтовых веток. Плотно — попробуй разгляди! — прикрыли ими медвежью тушу. Принялись собирать хворост.

Вдруг Петька окликнул Павлика:

— Паш! А Паша! Подь-ка сюда!

Павлик подошел.

В ямине, под высоким кустом черемухи, лежал горбоносый скелет лосиной головы. Рядом валялась ветвистая лопата рогов.

— Еще одного саданули... — возмутился Петька. — Опять, наверно, те же.

— Может, он сам пропал? — Павлик перевернул ногой рога. На земле остался отпечаток, устланный бледно-зеленой чахлой травой.

— Сам, как же! — горячился Петька. — А где остальные кости? А?

— Верно, — согласился Павлик. — Вот что. Вечером зайдем к участковому Ивану Иванычу и все расскажем. Пора этих «охотников» на чистую воду выводить.

Поздним вечером в просторной, чисто выметенной ограде Комаровых мужичья и парнишек — не протолкнешься. Еще бы! Медведя убитого привезли.

Мальчишки, толкаясь локтями и перемигиваясь, мошкарой вьются возле медвежьей туши, разваленной на брезентовом пологе. Каждый норовит ковырнуть то рукой, то босой ногой свалявшуюся темно-коричневую шерсть.

Вновь приходящие мужики расталкивают пацанов («кыш, голопятые!»), бросают на зверя два-три понимающих взгляда. Потом отходят к высокой завалине, неторопливо свертывают козьи ножки, прикуривают и вступают в степенный мужицкий разговор.

— Сырчихину-то корову, должно, этот задрал, — прикидывает кто-то.

— И гадать нечего — он!

С фонарем «летучая мышь» в ограде появляется Василий Бородулин, первейший в Кедринке охотник. Его позвали освежевать медведя, чтобы потом сдать мясо и шкуру в заготпункт «Сибпушнины». Он зажигает фонарь и подвешивает его к концу слеги, торчащей из крыши сарая.

— А ну, сыпьтесь отсюда! — властно кричит на парнишек Василий. — Кино, что ли, вам здеся? Мне делом заниматься надо!

Мальчишки нехотя покидают комаровскую ограду.

Петька с Павликом на правах хозяев остаются. Некоторое время они наблюдают, как ловко орудует Василий остро наточенным ножом. До самого окончания работы смотрели бы, да надо идти к участковому — и так уже сильно припозднились.

Недалеко от дома Комаровых, наискосок через улицу, кучкой все еще толклись мальчишки: по домам расходиться не хотелось. Слыханное ли дело: два пацана-школьника здоровенного медведину ухлопали! Сроду такого не бывало в Кедринке. Мужики-охотники, слу-

чалось, убивали. На счету Василия Бородулина, пожалуй, до десятка наберется. Один, подраненный, чуть было его на тот свет не отправил: плечо Василию сильно повредил и три ребра сломал. Долговато пришлось ему отлеживаться в Агуйдетской больнице... А чтобы медведя добыли парнишки — такого еще не было!

— Вот это да, охотники! — донесся до Павлика с Петькой чей-то восторженный возглас.

— Не то что ты, Филя-простофиля, — по утиным гнездам мастак!

— Че-о-о? — взвизгнул Филька Подлогаев.

— Че слышал! — задиристо крикнул кто-то и щучкой метнулся от кучки пацанов, затопотав босыми пятками. И правильно сделал: жестоким боем лупил Филька маленьких да слабосильных, если те ему не потрафляли.

— Филька! Поди-ка на пару ласковых! — окликнул Павлик Подлогаева.

В другой раз ни за что на свете не пошел бы Филька «на пару ласковых». Но сегодня в глазах всей деревенской ребятни Павлик и Петька настоящие герои. Попробуй не послушайся. Вмиг «трусину» схлопочешь. И прилипнет к тебе эта жалкая кличка, ни в какой бане во веки веков не отпаришь!

— Ну, че? — Филька, кривясь, приблизился.

— А вот че! — Петька сплюнул сквозь зубы. — Утиные гнезда почто зоришь? А?

Филька сник, как проколотый рыбий пузырь. Он приготовился было (черт с ней, с кличкой!) задать позорного стрекача, но Павлик упредил Филькин маневр: цепко схватил его за рукав выше локтя.

— Раззвонили, свистуны! — завихлялся Филька. — «Зоришь-зоришь»! А я всего-то два несчастных гнезда. Да и то все яйца порченые...

— И тварюга же ты! — тихо сказал Павлик, беря Фильку за шиворот.

Филька съежился, вобрал в себя тонкую шею и начал приседать:

— Да не стану я больше... Провались они пропадом, эти ваши гнезда! Говорю же — не бу-уду.

— Вре-ет! — расхохотался Петька. — Завтра же снова спакостит!

— Как на духу говорю — не буду, — швыркая носом, хныкал Филька.

— Тогда слушай. — Павлик строго смотрел в бегающие Филькины глаза. — Мы тебе сегодня поверим. В последний раз. Понял?

— Ага!

— Но для надежности ты завтра сходишь к Марье Петровне и обо всем ей сам честно расскажешь: мол, зорил утиные гнезда и боле не буду вовек. Понял?

— Но.

Павлик отпустил Фильку.

— Хе! Нашли дурака — к завшколихе идти! — прокричал издалека Филька, убегая домой. — Сами катитесь к ней, если шибко охота!

— Ну-ну, смотри! — услышал он в ответ. — Попадешься еще!

Несмотря на позднее время, участковый Глазырин еще не ложился спать. У крыльца густо дымилось курево: в старом жестяном ведре тлел сухой коровий навоз. Иначе в летнее время в Кедринке нельзя — комары одолеют.

Супруги Глазырины жили в двухкомнатной квартире при школе.

И то ли оттого, что у обоих были такие «общественные» должности, то ли от душевной теплоты и чуткости (точнее, видимо, от того и от другого вместе), двери их скромно обставленной чистенькой квартирки были открыты для кедринцев в любое время суток.

Ученики, если Марьи Петровны не оказывалось в

школе, чуть что — бежали к ней домой. Взрослые со своей нуждой-надобностью в любое время шли к Ивану Ивановичу. К слову надо заметить, что и кабинета-то отдельного у Глазырина не было. Если случалось дело, когда нужно было переговорить со многими людьми, то людей этих он приглашал в одну из классных комнат.

...Выслушав ребят, участковый помолчал. Поковырял дранкой в жестяном ведре, отворачивая лицо от дыма. Потом в раздумье проговорил:

— Завтра сведете. Сам взгляну на этот череп. Да и место повнимательнее надо обследовать... Хм! Дело-то, ребятки, у нас с вами получается очень серьезное. Придется заняться по-настоящему!

— А еще вот что, — сказал Павлик. — Слух-то идет... Будто по ночам в Гнилой Ляге огонь блуждает. Что, если мы с Петькой, Иван Иваныч, проверим, что да как?

— Проверим? — ахнул Петька от неожиданности. — Это как же?

— А очень просто, — усмехнулся Павлик. — Пойдем к мельнику Еремею, попросим обласок: порыбачить, мол. Переметы у песчаной косы поставим. А коса-то — в самый раз напротив Гнилой Ляги!

Участковый Иван Иванович возражать не стал. Только посоветовал ребятам быть осторожными.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Рано утром Павлик с отцом сходили в кедринский ларек, купили для Павлика темно-синие сатиновые брюки, ситцевую рубашку с короткими руками и брезенто-

вые полуботинки. Не пойдешь же в районный центр в холщовых штанах да в старых сапогах со стоптанными каблуками! Емельян Степанович специально упросил бригадира Александра Плотникова, чтобы разрешил ему сегодня выйти на работу попозже.

Когда вернулись из ларька, Настасьи дома уже не было. Полька сказала, что она ушла к Подлогаевым. Холщовую котомку с запасом на два дня собирали сами.

Провожал отец Павлика аж за Большой лог — первый раз шел сын в Агуйдет. Дорогу до него Емельян Степанович объяснил обстоятельно. Хотя особенно и объяснять нечего: одна она здесь, трактовая дорога, с кюветами-канавами по обочинам. Километров пять полями, а остальные пятнадцать — тайгой.

Еще раз пожалев, что сегодня не случилось попутчика, отец дал Павлику трешницу на гостинец для Саньки Лихова и погладил сына по стриженой голове:

— Ну, как говорится, с богом, паря. Поосторожней там, слышь! Купаться в Юлыме надумаешь, дак знай: глубокий он, да и ключей, говорят, в нем много...

— Ладно, тять.

Долго стоял Емельян Степанович на краю Большого лога, глядя, как легко шагает Павлик обочиной дороги, не без гордости думал:

«На глазах взрослеет парень. Вот уже и в Агуйдет один направился. Да не за каким-нибудь пустяком, а по настоящему делу».

Последние три километра перед райцентром дорога пролегает через сосновый бор. Ну и красотища в этом бору! Прямые и голенастые — ветки только на самых макушках — стоят высоченные сосны, ровно светло-коричневые свечи. Стоят негусто, и от этого в бору светло и весело. И видно далеко-далеко!

Приятно шагать по дороге через бор! Воздух здесь будто настоян на сосновой смоле да цветущем багульнике. От запаха багульника, говорят, голова заболеть может. Только, наверно, если дышать им долго. А Павлик три километра бором прошагал за каких-нибудь полчасика. И не заметил, как прошагал!

С холма, которым неожиданно оборвался бор, Павлик увидел как на ладони село Агуйдет.

«Это да! — остановившись, подивился он. — Настоящий город. Будто на книжной картинке нарисовано. А домов-то двухэтажных сколько! Вот так чудо-юдо!»

Павлик свернул с дороги, присел на поросшую брусничником высокую кочку. Самая пора обуваться в брезентовые полуботинки. Босиком в районный центр входить не годится.

Пока Павлик обтирал запылившиеся ноги о мох, приятно щекотавший кожу, пока натягивал носки да зашнуровывал полуботинки, на дороге, глухо постукивая, показался ходок, запряженный серой в яблоках лошадью. Поравнявшись с Павликом, ходок остановился.

— И далеко путь держим? — спросил сидевший в нем полный мужчина в черном френче.

— Я-то? — Павлик, встряхнув плечами, поправил лямки своей котомки. — Я в район!

— В таком случае милости прошу к моему шалашу! — приветливо сказал мужчина. — Присаживайся. Нам с тобой, выходит, по пути.

Павлик, не раздумывая, проворно подошел, ловко сунул правую ногу в скобу-приступочку и вмиг оказался в коробушке ходка, сплетенной из тонких прутиков.

Хорошим человеком показался с первого взгляда Павлику случайный попутчик. Белесые, как у Саньки Лихова, волосы пострижены «под бобрик» и щетинисто торчат вверх. Из-под рыжеватых, точно поспелая пшеница, бровей хитровато и весело смотрят серые глаза. Да и все лицо его, если присмотреться, ласковое, доб-

рое, светлое какое-то. Голос хоть и басовитый, а приветливый, мягкий.

— Издалека, молодой человек, идем? — спросил толстяк, когда Павлик удобно устроился в коробушке ходка и блаженно вытянул ноги, отекшие от долгой ходьбы. — А?

— Я-то? — удивляясь такому странному обращению к себе, взглянул Павлик снизу вверх на попутчика. — Из Кедринки.

— Ого! — легонько хлестанул мужчина ременной вожжой по потному боку лошади. — Не так уж и близко! Я, к слову сказать, был сегодня в вашей деревне. Проездом. И с заведующей школой Марьей Петровной виделся. Ты, случайно, не Груздилов будешь?

— Точно! — удивленно взглянул Павлик на своего попутчика. — А вы, что ли, уполномоченный?

— Что-то вроде этого, — добродушно пробасил тот. — Хоть и не совсем так... А у тебя какие дела в Агуйдете? Если, конечно, не секрет.

— Два дела у меня, — охотно ответил Павлик. — Дружок мой в больнице... Недавно положили. Ногу он сломал. Так навестить его надо.

— Стоящее дело! — На Павликово плечо легла теплая твердая ладонь. — Друзей забывать нельзя. Особенно, если они вдруг окажутся в больнице.

— А еще мне... — И Павлик, пока подъезжали к Агуйдету, рассказал своему попутчику, умеющему так быстро расположить к себе и вызвать на откровенный разговор, о главном деле, ради которого он впервые в жизни отправился в районный центр.

Павлик рассказывал все, что узнал из бесед учительницы и из газеты «Пионерская правда», об интересной жизни советской пионерии. В Кедринской же начальной школе, у них то есть, пионерской организации все еще нет. Хотя большинство ребят давно мечтают стать пионерами. Чтобы не просто учиться в шко-

ле, но еще и заниматься другими хорошими и интересными делами.

А дел этих у них в деревне хоть отбавляй!

Многие кедринцы — и взрослые и ребятишки — до сих пор, например, в бога верят, точно темные кержаки. Словно не при Советской власти, а при царе Горохе живут. Можно ли с этим мириться? Нет! Хорошо, если бы у них при школе кружок «Юный воинствующий безбожник» по-настоящему заработал: доклады бы делать, живые картины показывать, стенгазеты выпускать.

Или вот еще... В последнее время стало известно: кто-то из их деревенских нещадно лосей стрелять начал. Не из простого дробового ружья промышляют — из винтовочного обреза бьют. И никому пока не известно, у кого этот обрез тайно хранится. Глазырину, участковому, одному за всем где ж усмотреть! Может, кто знает, да помалкивает: браконьеров боится. А было бы пионеров человек двадцать в деревне, попробовали бы браконьеры от них утаиться.

Да мало ли еще каких важных дел...

Сейчас ребята-ученики как живут? Покуда в школе, вроде все вместе. А уроки закончатся — разбредутся по домам, словно тараканы по щелям попрячутся. Разве так нужно жить в нынешнее, советское время?..

Попутчик слушал Павлика внимательно, изредка посматривая на него изучающе из-под своих пшеничных бровей.

— Мне в райком комсомола по этому делу попасть надо, — закончил свой рассказ Павлик. — К самому Ельневу.

— К самому Ельневу, говоришь?

— К нему, заведующая нашей школой сказала...

В это время ходок въехал в Агуйдет. Мужчина остановил лошадь на маленькой горушке, в самом начале окраинной улицы.

— Вот мы с тобой почти и на месте! — сказал попутчик. — А ты ночевать-то где собираешься?

— У тятькиных знакомых. Ивановы по фамилии. Пацанов спрошу — покажут.

— Ну-ну. Верно.

— Спасибо, дяденька! — поблагодарил Павлик попутчика, легко спрыгнул с ходка и начал соображать, в какую сторону податься.

Мужчина вынул из кармана френча блокнот, что-то черканул в нем красным карандашом, вырвал листок и, свернув его вчетверо, протянул Павлику:

— Завтра к десяти часам утра по этому адресу, как говорится, добро пожаловать!

Павлик взял листок, но читать, что там написано, пока не стал. «Еще успеется», — подумал.

— Ну, пока! Счастливо, орел! — Попутчик хлопнул вожжой, ходок бойко застучал колесами и скоро скрылся из виду — свернул за угол.

На другой день к десяти часам утра Павлик с Митькой, сыном отцовых знакомых, подошли к высокому двухэтажному дому.

— Вот туда — Митька показал рукой на вывеску у парадной двери здания. — Читай: «Агуйдетский райком ВКП(б)».

Павлик, честно говоря, слегка оробел и поэтому сказал Митьке:

— Ты, может, посидишь пока на лавочке? Я скоро.

— Ладно, — согласился Митька.

Через открытую настежь дверь Павлик вошел в коридор первого этажа. Коридор был пуст. Не осмеливаясь войти в какой-либо из кабинетов, расположенных справа и слева, Павлик решил подождать: может быть, кто-нибудь появится в коридоре, и тогда он спросит, куда ему следует обратиться.

Действительно, скоро одна из дверей отворилась, и из нее вышла стройная девушка с коротко острижен-

ными светлыми волосами. Она сперва было прошмыгнула мимо Павлика, но потом вдруг остановилась, обернулась к нему и, оглядев мальчика с головы до ног, спросила:

— Ты что? Ждешь кого?

— Мне бы... Да вот! — Павлик развернул блокнотный листок и протянул его девушке.

Та мельком взглянула на записку и, улыбнувшись, сказала:

— О, так это не здесь. Это, молодой человек, наверху. Пойдемте со мной!

По крутой лестнице они поднялись на второй этаж. Девушка открыла самую первую дверь и пропустила его вперед. Беззвучно прикрыв за собой дверь, она прошла к единственному в комнате столу, на котором среди стопок разных бумаг стояла пишущая машинка.

Павлик остановился у самого порога.

— Да... вы проходите. Присаживайтесь! — девушка указала на стулья, стоявшие вдоль стены. — Сейчас я о вас доложу.

«Тоже мне! — пожал плечами Павлик, усаживаясь на самый крайний стул. — Затеяла: «вы» да «вы». Чистое чудо-юдо самовар!»

Захватив несколько бумаг, девушка подошла к обитой коричневым дерматином двери, открыла ее и вошла в кабинет.

«Первый секретарь райкома ВКП(б) А. И. Рамичев», — прочитал Павлик надпись на табличке, прикрепленной к двери кабинета, и оробел: он же шел к Ельневу, в райком комсомола, а оказался у первого секретаря райкома партии. Сто раз, поди, Павлик слышал, что это самый главный, самый большой человек в районе. Вот те раз!

Обитая дерматином дверь отворилась, девушка вышла и сказала, улыбаясь:

— Проходите, Груздилов! Александр Иванович вас ждет!

Пропустив Павлика, она закрыла за ним тяжелую дверь.

Перешагнув порог, Павлик окончательно растерялся. Он оказался в большом, как школьный класс, кабинете. Его поразило здесь все: и светлые высокие стены, и огромный мягкий диван, обтянутый кожей, и длинный-предлинный под красной скатертью стол, по обе стороны которого в два ряда стояло множество стульев. Почти всю правую от Павлика стену занимали три больших окна с зелеными, скрывавшими простенки занавесками. Наверно, от этого весь кабинет был залит каким-то мягким, приветливым светом.

За столом, стоящим в конце того, что под красной скатертью (точь-в-точь буква Т), сидел... вчерашний Павликов попутчик.

Одет он был сегодня иначе — в сером пиджаке и в белой рубашке с галстуком. Но лицо его было такое же, как и вчера, — светлое и добродушное. Так же улыбчиво и ласково сияли из-под пушистых пшеничных бровей серые глаза.

Рамичев встал из-за стола, вышел навстречу Павлику, теплыми ладонями взял его правую руку.

— Ну, здравствуй, здравствуй!

— З-здрав-ствуйте! — ответил Павлик, невольно заикаясь от смущения.

Усадив гостя в мягкое кресло, стоявшее по левую сторону от его стола, Рамичев вернулся и сел на свое место.

— Ну, расскажи, как спалось тебе на новом месте, в гостях?

«Этого еще не хватало! — подумал Павлик. — Стану я такому человеку свои сны рассказывать».

— Ты что это будто воды в рот набрал?

— Нормально спалось... вроде.

— Значит, ничего особенного? — Секретарь потрогал, поправил большие чернильницы на толстой мраморной плите. — Как дома, значит?

— Да нет... Радио, когда рано утром заиграло, я так и вскочил! Москва сегодня говорила! А потом... как его... Маланин на баяне играл — дух захватило!

— Это верно! Иван Иванович Маланин на всю Сибирь гремит... Приятеля-то своего в больнице навестил?

— Навестил. А то как же! — ответил Павлик. Чувствовал он себя все смелее и свободнее. Словно не впервые ему приходилось бывать в этом кабинете, сидеть в этом кресле. Будто давным-давно знаком он с Александром Ивановичем Рамичевым. — Еще вчера вечером Саньку проведал.

— И как он?

— Да чудной он, Санька Лихов-то! У человека нога сломаная, а он на костылях, как сорока, прыгает и все хохочет да радуется. Оттого что в Агуйдет попал!

— Молодчина у тебя приятель! — похвалил Саньку Рамичев. — Так и надо! Вся жизнь у вас еще впереди. Синяков да шишек может перепасть ой-ой сколько! И если всякий раз распускать нюни, в два счета скиснуть можно... Значит, у тебя полный порядок?

— Да нет еще... — Павлик, поворочавшись в кресле, низко опустил голову. — Главное-то дело, ради которого пришел...

— А-а! — пробасил секретарь. — Главное, говоришь?.. Вот мы им сейчас и займемся.

Рамичев нажал на какую-то встроенную в столе кнопку. Тотчас в кабинет вошла светловолосая девушка, и Александр Иванович попросил вызвать к нему первого секретаря райкома комсомола Ельнева и заведующего районо Дедкина.

Первым появился Ельнев.

— Вызывали, Александр Иванович? — спросил он.

— Да. Присаживайся, Борис Павлович.

Ельнев прошел к столу Рамичева и сел в кресло, стоящее с противоположной стороны.

— Борис Павлович, — обратился Рамичев к секретарю райкома комсомола, — не встречался, случайно, раньше с этим молодым человеком? — Александр Иванович кивнул головой в сторону Павлика.

— Вроде не приходилось. Откуда он?

— Вот в этом и суть, Борис Павлович. Этот орел залетел к нам из Кедринки. А зовут его Павликом... Павлик Груздилов. Парень он толковый, хороший ученик. И вообще тебе надо с ним получше познакомиться!

«Вот наговорил!» — удивился про себя Павлик.

— А прибыл он сюда вот по какому вопросу... Впрочем, предварительный разговор, если помнишь, мы вели с заведующей Кедринской школой.

Рамичев коротко повторил все то, о чем вчера рассказывал Павлик, пока они подъезжали к Агуйдету. При этом заметно нажимал на слово «самостоятельно»: «Самостоятельно, Борис Павлович, понимаешь?»... «Самим пришла в голову такая идея»... «Сами думают справиться»...

— И я верю, что у них дело пойдет! — закончил он. — Только на первых порах им нужно будет оказать помощь. Об этом же меня вчера еще раз, и настоятельно, просила Глазырина.

— Подумаем, Александр Иванович...

— Хорошая вещь — «подумаем»! — Рамичев мягко хлопнул ладонью по кромке стола. — Думать всегда надо. Без этого нельзя! Только вопрос, Борис Павлович, сейчас стоит по-другому. Что мы с тобой Павлику Груздилову скажем сегодня: будет у них в Кедринке во второй половине августа временный пионервожатый или нет? Да или нет? Подыщете вы недельки на две знающего это дело человека, толкового парня или девушку? Или как?

— Наверно, сможем. Постараемся...

— Что-то плохо расслышал! — чуть наклонившись, Рамичев приложил правую ладонь к уху. — Повтори-ка!

— Будет! — улыбнувшись, проговорил Ельнев.

— Вот теперь отлично слышу! — весело пробасил Александр Иванович и, повернувшись к Павлику, добавил: — Будет, Груздилов! Будет у вас временный пионерский вожатый. Ясно?

— Ясно! — обрадовался Павлик.

— В этом нас с тобой заверил сам первый секретарь райкома комсомола!.. К нему-то, к слову сказать, ты и шел из Кедринки пешком.

Заведующего отделом народного образования Деդкина Рамичев попросил о другом. Снова кратко растолковав, в чем суть Павликова дела, он поинтересовался: сможет ли районо дополнительно выделить Кедринской начальной школе денег для приобретения пионерского знамени, горна, барабана.

— Как считаете, Григорий Игнатьевич? А? Только не поймите, будто я не в курсе, что у вас туговато со средствами! Тут случай особенный. Сумеете?

— Сумеем, Александр Иванович, — ответил заведующий районо. — Сделаем! Раз такая замечательная инициатива у кедринских ребят.

Когда заведующий районо вышел, Рамичев спросил Павлика:

— Ну решили с твоим главным делом, орел? Доволен?

— Еще как доволен-то! — не помня себя от радости, ответил Павлик и встал. — Большое, большущее спасибо!

— Ну, «спасибо», тем более «большущее», говорить пока рановато, — сощурив глаза, в раздумье произнес секретарь. — Ты мне, Павлик, лучше скажи вот о чем, — как ты считаешь, ваши кедринские ребята в пионеры охотно вступят?

— Считаю, что... запишутся, — замешкался с ответом Павлик.

— Там ведь у вас в деревне немало раскулаченных.

— Да. Знаю...

— Помнишь, — перебил его Рамичев, — во время молотьбы осенью прошлого года у вас в колхозе большая неприятность вышла? С молотилкой?

Павлик хорошо это помнил.

Летом прошлого года к ним в колхоз привезли новую молотилку с соломотрясом, «полусложку», как называют ее мужики-кедринцы. Под руководством присланного из Агуйдета механика ее установили на специально расчищенной площадке у самой мельницы. Сделали это с таким расчетом, чтобы при помощи нехитрого механизма, придуманного колхозным кузнецом Голубевым, и широкого прорезиненного ремня молотилка приводилась в действие водяным колесом. Рядом с молотилкой поставили две веялки с ременным приводом от того же мельничного колеса. Над площадкой соорудили высокую соломенную крышу. Получился превосходный колхозный ток. «Механизированный», — с гордостью говорили о нем в Кедринке и стар и мал.

Скоро, когда наступило время молотьбы, пошла на току работа! Успевай только подвозить снопы да складывать в скирды солому.

— С молотьбой-то мы нынче задолго до Октябрьской управимся! — радовались кедринцы.

И вдруг — на тебе! Через три дня молотилка остановилась: полетел подшипник. Чья-то злая рука забила его песком, и он, перегревшись, рассыпался. Запасного подшипника не оказалось: сумка с инструментами, в которой он хранился, куда-то исчезла. Как в воду канула. Две недели бездействовала «полусложка», пока чуть ли не из Томска привезли новый подшипник...

— Помню. Как же... — тихо ответил Павлик. — До сих пор так и не знаем, кто тогда сбаловал... Но, — оживился он, — в пионеры ребята запишутся! Честное слово!

Прощаясь, секретарь крепко, как взрослому, пожал Павлику руку.

— Ну, успехов тебе, Груздилов.

В Кедринку из Агуйдета в этот день Павлик возвращался — словно на крыльях летел.

ФИЛЬКА ПОЛУЧАЕТ ВЗБУЧКУ

Когда Настасья вошла в дом Подлогаевых, вся семья уже завтракала в кути.

— Здоро́во ночевали! — поприветствовала она хозяев. — Чай вам с сахаром!

— Спасибочко, кума! — ответила за всех Филькина мать Аксинья. — Садись с нами за стол!

— А что? Пожалуй, и можно! — тотчас же согласилась Настасья. — Сама-то я сегодня не варила. Иродов моих нечистая в ларек унесла за обновками. Пашка, варначина, в район собирается. Там его ишшо не видали...

Настасья с позавчерашнего вечера, после разговора с Емельяном Степановичем, была в сильном расстройстве. И к родственникам заглянула, чтобы их после колхозного собрания немного утешить да и самой душу отвести.

Аксинья, заставив Фильку подвинуться, приветливо усадила гостью за стол, подала ей глиняную миску, доверху наполненную дымящимися щами с большим куском мяса.

— Щи-то с мясной солониной! Не то что у нас, — похвалила Настасья. — Чистое объедение!

— Сами виноваты! — упрекнул сестру Никита, старший из братьев Подлогаевых. — С умом бы жили — и у вас было бы.

— Что ты, что ты, Никита! — замахала руками Настасья. — Спаси, сохрани и помилуй, мать пресвятая богородица! Греха не оберешься с варнаком-то лупоглазым. Вон медведя с Петькой Комаровым убили, дак и то сказывал, будто деньги, которые в «Сибпушнине» за шкуру и мясо получат, Сырчихе отдать собираются. Раз этот самый медведь ее коровенку задрал.

— В район-то на кой понесло его ноне? — сердито спросил Василий, отдуваясь после третьего стакана выпитого чая и стирая пот с лица льняным расшитым полотенцем.

Настасью так и передернуло от злости:

— Пионерию в деревне развести затеял, антихрист! А попутно, может, и каку другу пакость сотворит.

— Тьфу! Срамота! — плюнул Никита и искренне посочувствовал: — И как ты, сестра, с ним живешь только!

— И не говори! Сама дивуюсь. Скажи бы кто мне раньше, что до такой жизни дойду, в глаза б тому наплевала. Не забыли, поди, как мы с Митрофаном-покойником на родине жили?

— До самой смертыньки, видать, про то нам всем помнить, — вздохнула Аксинья.

Перемыв косточки Павлику, а заодно и Емельяну Степановичу, заговорили о колхозном собрании.

Настасья, сочувствуя братьям, все объясняла завистью: «Завидно — вот и раззвонились!»

— Знать бы, какая вошь на нас в той газете нашкрябала, вот так бы сделал! — Никита смачно плюнул и, наступив носком сапога на плевок, растер по крашеному полу.

— А че тута знать? — вступил в разговор старших Филька, хотя это делать ему обыкновенно строго-на-

строго запрещалось. И похвастал: — Известно, Сеньки-Фенечкина это работа. Как пить дать!

— Что ишшо за цаца такая объявилась, Сенька-Фенечка?

— Да это Сенька Буреев с Кешкой Башковым, — пояснил, прицокивая языком, Филька. — Сенька нарисовал, а Кешка стишок нашкрябал.

— Откуда знаешь? — строго спросил Василий племянника.

— Колька Суханов мне намедни сказывал. Завшколиха их после уроков оставляла и велела к собранию стенгазету выпустить. — А еще, — мотнул головой Филька, — они решили дознаться, кто в нашей деревне лосей стреляет.

— Кто эт-то они? — Никита даже привстал.

— Да много их, — затараторил Филька. И, загибая пальцы левой руки, принялся перечислять: — Петька Комаров — раз, Санька Лихов, тот, что с кедра в омут шмякнулся, — два, опять же Сенька-Фенечка, еще двух кладите. А верховодит у них обратно же он — Пашка Груздилов. Недавно к участковому Глазырину Пашка с Петькой ходили. Колька видал.

— Да че же эт-то такое деется? — завздыхала Аксинья. — Совсем скоро добрым людям крышка. Никакого житья не дадут, окаянные!

— То-то и я слышала, — будто самой себе проговорила Настасья, — антихрист-то наш лупоглазый отцу говорил про каку-то лосину голову. С Петькой Комаровым будто в тайге за мельницей нашли.

— Ну и че?

— Ясно, че: участковый-то следствие собирается наводить. Искать, кто лося того стрельнул.

— И дурачье же! — ухмыльнулся Василий. — Теперь ищи-свищи ветра в поле. Сколь времени-то ушло.

— Ко мне и то придирались! — вякнул Филька.

— Как это? — строго спросил Никита.

— Ругались: почто, мол, утиные гнезда зорю.

— А ты?

— Како, говорю, ваше собачье дело, — соврал Филька. — И всего-то, говорю, два гнезда, да и то все яйца запаренные.

— А они?

— А че мне они? Чхал я на них!

— Нет, все ж таки? — прищурился Василий.

— Говорят, иди к училке, к Марь Петровне. И все расскажи, покайся.

— Ходил, что ли?

— Это я-то? — мотнул головой Филька. — Нашли дурачка! Хм!

— Дрянь ты разнесчастная! — заругался Василий на племянника. — Ты хоть немного думаешь, че делаешь?

Филька даже рот открыл: не ожидал, что все так повернется.

— Да ведь из-за этих тухлых утиных яиц на весь наш дом подозрение может лечь! Понимаешь, скотина тупорылая?.. Никита, — обратился Василий к брату, — видал сынка? Каков гусь?

Никита давно уже пристально смотрел на Фильку. Теперь же, плотно сжав зубы, поманил сына к себе пальцем. Филька, видя, что дело принимает нежелательный для него оборот (как бы не схлопотать лупку!), пустил в ход свое испытанное оружие: захлопал глазами, выжимая слезу, и жалким голосом заскулил:

— Тять, не надо! Я же ведь ничего.

— Ну?!

Филька топтался на одном месте, переминаясь с ноги на ногу.

— Оглох, аль ремня давно не нюхал? — крикнул Никита.

Филька робко шагнул в сторону отца:

— Да тя-а-тя...

— Замолчь! — топнул ногой Никита. — Разуй уши и

слушай, как следоват!.. Ты, обормот, к завшколе сходишь! Ты добудешь у нее прощение! Божись, кайся, что хошь! А чтоб простила! Слыхал?

— Слыхал, тятя! Схожу, тятя!

— И посулись ей вперед ничего плохого не делать. Понял?

— Понял, тятя! Все как есть понял! — заметно повеселел Филька. Он сообразил, что на этот раз, видно, до выволочки не дойдет. Но...

— Вре-ет он! — решительно заявил Василий, вновь появляясь в кути. Он зачем-то быстро сходил в сени. — Не пойдет он в школу!

— Ей-бо, пойду. Сказал же!

— А я говорю — нет! — с этими словами Василий бросил на стол голубенькую картонную коробку. — У него перед завшколихой по другому делу рыло в пуху. Полюбуйся, отец!

Никита открыл коробку. Вынул один компас, повертел его и спросил сына:

— Где взял?

— Колька Суханов дал.

— А он где взял?

Филька, опустив голову, молчал.

— Где, спрашиваю? — поймал Никита Фильку за мочку уха и крутанул ее толстыми пальцами. — Где?

— Ой-ой-ой! Не на-адо!.. В школе... ему дали-и. Больно, тятенька!

— Дали, значит? Премировали за отличие? А? — еще раз дернул Никита Филькино ухо.

— Ой, тятенька-а! — на весь дом заревел Филька. — Стащил их Колька... в учительской... Больно же-е!

— Больно? Врешь, стервец! Это ишшо не больно. Больно будет сейчас!

И Никита, сорвав с себя ремень, бросился на сына.

— Можа, хватит, — вступился за племянника Василий

и, поймав ремень, остановил расходившегося Никиту. — Теперь надо подумать, что делать дальше...

После недолгого разговора решили: школьные компасы Филька отнесет Кольке Суханову. Пусть делает с ними что хочет. Хоть на гайтан их вместо креста вешает. Умел воровать — умей и концы в воду прятать. И к Глазыриной Филька на днях сходит: надо пообещать ей, что утиные гнезда он больше разорять не будет.

— А пащенка твоего — тряхнул головой Василий в Настасьину сторону, — бояться надо. Такую кашу, сволота, заварить может — не расхлебаешь... Родственничков тоже черт наслал на наши головы!

— Я-то здесь при чем? Ты что это, Василий! — обиделась Настасья. — Самой не мед житье...

— Вот и надо подумать, как быть... Эх, жалко, что времена теперь, проклятые, не те! Я бы это дело живо обстряпал.

Когда уже все расходились по колхозным работам, заплаканный Филька догнал Настасью и что-то долго ей нашептывал в самое ухо.

— Ладно, крестничек, ладно! Такому злыдню разве этаким пустяком отплатить надо. Ему бы, варначине... А эту-то пустякову штуку я ему устрою за милу душу!.. Принесешь потом как-нибудь незаметно. Только смотри, будь поосторожнее!

НАХОДКА СЕНЬКИ-ФЕНЕЧКИ

Еще только чуть светает, а деревенская улица уже начинает пробуждаться, постепенно оживать. Первым, позвенькивая в оконные стекла, от избы к избе проходит вдоль деревни колхозный бригадир Александр Плот-

ников: дает наряды на работу. Потом, звучно хлопая длиннющими бичами, кривой Макар с подпаском Ванькой Дьяконовым прогоняют разноголосо мычащее колхозное стадо. Вслед за ними, отзвенев тугими струями молока в подойники, выгоняют за Таволгу своих коров босоногие, с подоткнутыми подолами хозяйки. После того как разномастные задиры петухи, стараясь переорать друг друга, выводят из оград полусонных кур, улица оживает окончательно.

Сегодня Шурка Плотников нарядил Павлика в помощники к пастуху Макару. Постоянный Макаров подпасок Ванька Дьяконов что-то немного приболел.

Чудаковатым мужиком слывет в Кедринке Макар. Одним из самых первых вступая в колхоз, в конце заявления о приеме нацарапал Макар приписку: «Желаю быть артельным пастухом. Прошу просьбы моей не отказать». Макарова просьба была уважена, и он бессменно работает пастухом с самого основания колхоза. Пятый десяток, говорят, ему пошел. Живет Макар одиноко. Сам себе и швец, и жнец, и на дуде игрец, как говорится. И еду готовит, и стирает, и со скотиной управляется.

— Некогда еще, — щуря свой единственный глаз, оправдывается Макар, если кто-нибудь полюбопытствует, когда же наконец он женится. — Некогда, и все тут!

Левого глаза у него нет. И все лицо сплошь в яминах, корявое: в детстве сильно оспой переболел, еле в живых остался. Один изо всей семьи...

Суров и хмур с виду колхозный пастух, а со скотиной добр и ласков. Да и подпаска себе облюбовал такого же, как сам; Ваньку Дьяконова хлебом не корми — дай лишний часок поторчать на скотном дворе или в колхозной конюшне. Бичи пастух с подпаском таскают за собой длиннющие, змеистые. Хлопают ими оглушительно. А скотину не бьют. Хлестани попробуй какую норо-

вистую корову — живо турнет Макар такого помощничка!

Накануне Макар сам упросил бригадира вместо Ваньки Дьяконова отрядить ему в подпаски Павлика Груздилова.

Да разве утерпеть Павлику до вечера, чтобы не рассказать все Марье Петровне о своем походе в Агуйдет? Глазырины, как и все в деревне, встают рано, и Павлик, предупредив Макара, что догонит его, решил забежать к учительнице.

— А, Павлик! — обрадовалась Марья Петровна. — С чем пожаловал? Ну, садись, рассказывай...

И Павлик в мельчайших подробностях рассказал и о своей неожиданной встрече с Александром Ивановичем Рамичевым, и о том, какой разговор состоялся у первого секретаря райкома партии с Ельневым и с заведующим районо Дедкиным. С особой радостью Павлик сообщил о результатах этого разговора: быть в их Кедринской школе с начала нового учебного года пионерскому отряду!

— Одного теперь боюсь я! — проговорил Павлик и опустил голову.

— Чего же? — удивилась учительница.

— Я ведь Александру Ивановичу слово дал, не подкачаю, мол... уговорю ребят, чтобы в пионеры записывались.

— И правильно сделал! — убежденно сказала Марья Петровна. — Что мы с тобой, наших ребят не знаем? Ведь многие мечтают стать пионерами.

— И я сперва так же думал. А со вчерашнего вечера сомневаться начал.

— Почему?

— Говорил вчера с некоторыми ребятами. Они-то сами с охотой! Да родителей многие боятся. Ни в жисть, говорят, не разрешат.

— Это с кем же ты разговаривал?

— Да с некоторыми... С Ванькой Дьяконовым, с Алешей Сырцовым, например... Только Марина Махова сразу сказала: «Записывай!» Да еще Кешка с Сенькой... Ну и головой ручаюсь за Саньку Лихова.

Марья Петровна подошла к Павлику и, как делала всегда, если ученик низко склонялся над партой, легонько двумя пальцами приподняла его подбородок:

— Зря ты расстроился! Все будет хорошо. В этом деле тебе помогу. Повидаюсь с родителями. Потолкую. Выше голову, Павлик!

— Ну, тогда ладно!.. Если вы с родителями несознательными поговорите, полный порядок будет! — Павлик заметно повеселел.

Он уже засобирался уходить, когда из соседней комнаты вышел Иван Иванович Глазырин.

— А что, Иван Иванович, — спросил Павлик, поздоровавшись с участковым, — водил вас Петька за Таволгу, где у ямины под черемуховым кустом мы череп сохатого нашли?

Участковый ответил утвердительно, добавив, что и этого лося убили тоже нынешней весной. И опять из того же оружия: или из боевой винтовки, или из винтовочного обреза. Короче, оба случая — дело одних и тех же рук.

— Вот гады! — возмутился Павлик. И сконфузился, устыдившись Марьи Петровны. — Кто же это?

— Пока неизвестно. Расписки там не оставлено. Будем искать...

В это самое время на крыльце громко затопали, и тотчас послышался нетерпеливый стук в дверь.

— Войдите, — сказала Марья Петровна.

В прихожую шумно ввалились Сенька-Фенечка. Оба были одеты по-походному: собрались на прополку овса. У каждого за спиной по котомке. В правой руке у Кешки Башкова туесок с квасом.

— Здрасьте, Марья Петровна! — в один голос по-

здоровались Сенька-Фенечка. — Иван Иваныч! Мы к вам.

Перебивая друг друга, приятели сбивчиво и многословно поведали историю, смысл которой вкратце заключался вот в чем...

Вчера, во время обеденного перерыва на прополке овса, Сенька-Фенечка прибежали из-за Большого лога в деревню, чтобы искупаться в Таволге. Купаются они всегда в одном и том же месте — в омутке, что метров на сто пятьдесят ниже колхозной мельницы. Чудесное здесь местечко: и глубоко, и течения почти незаметно, и одеваться удобно — рядом мостки для полоскания белья.

Сначала купались по-обыкновенному: плавали вперегонки, вываливались в песке, ныряли с мостков. Потом решили научиться нырять с открытыми глазами: в одной книжке вычитали, что это не так-то уж и сложно. Ловцы жемчуга не хуже рыб под водой видят!

Начали учиться. Нырнув, открывали глаза и пытались ими вовсю глядеть. Сперва у них получалось неважно: глаза резало, а видимость была никудышная. Но скоро дело наладилось.

Друзья условились: ныряя поочередно, они в качестве доказательства будут доставать со дна омута какие-нибудь предметы. Там, если покопаться в иле, можно кое-что обнаружить. Омут довольно глубокий, внизу течения нет, и на дно наволокло всякой всячины.

Сначала мальчишки вытащили три пустые бутылки, потом ручку от поварешки, топор с треснувшим обухом и даже механизм от часов-ходиков. Все металлические предметы были изуродованными и ржавыми.

Самая же важная находка случилась под конец. Вынырнув в последний раз, посиневший Кешка разжал окоченевшую руку и крикнул, стуча зубами:

— Смотри, Сенька, ч-че я выудил! — В руке у него был какой-то предмет, обросший тиной.

Сенька, который успел надеть рубаху со штанами и теперь прыгал на одной ножке, вытряхивая воду из уха, подскакал к Кешке.

— Дай-ка сюда, посмотрю.

Кешка, дрожа всем телом, одевался. Сенька, разыскав обрывок холщовой тряпицы, начал старательно очищать Кешкину находку от тины. Под слоем ила на ней оказалась густая, затвердевшая смазка. Когда Сенька мало-мальски оттер находку от солидола, она стала походить на что-то знакомое. «Что же это такое?» — подумали Сенька-Фенечка, внимательно разглядывая находку. Но, так и не вспомнив, обратились к пастуху дяде Макару, пригнавшему колхозное стадо на водопой.

Макар взял в руки предмет, пристально осмотрел его со всех сторон единственным глазом и строго спросил:

— Где, парниши, достали?

— В ом-муте н-нашли, — отстукали зубами Сенька-Фенечка.

— Во-она! Дык это, парниши, подшипник от молотилки! Который осенью пропал. Да-а... Теперь мне кое-что... проясняется!

— Что, д-дяденька М-макар?

— Так, ничего. Это я сам с собой разговариваю... А вы, много будете знать, живо состаритесь! — И Макар, наказав Сеньке-Фенечке отнести подшипник участковому Глазырину, самим им велел пока «громче помалкивать»...

— Вот он, этот подшипник! — сказали Сенька-Фенечка.

Иван Иванович взял подшипник, повертел его в руках, несколько раз без надобности кашлянул.

— Здорово сохранился, — задумчиво сказал он. — Почти как новый!

— Дак он же был шибко смазан. Мы его едва-едва оттерли!

— Это-то как раз вы зря и сделали, друзья-приятели! — покачал головой Глазырин. — Там, видимо, и отпечатки пальцев могли быть... — подумал еще и добавил: — Вы, ребятишки, Макар вам верно сказал, до поры до времени «громче помалкивайте». И ты, Павел, тоже. — Павлик кивнул. — Зачем напрасно будоражить кедринцев. Тем более что пока еще ничего-то не известно.

Выйдя из квартиры Глазыриных, неразлучные друзья отправились на прополку овса за Большой лог, а Павлик Груздилов — догонять колхозное стадо.

В НОЧЬ ПОД ИВАНА КУПАЛУ

Километрах в трех от Кедринки, если идти берегом вниз по Таволге, обязательно окажешься на берегу известного всем здешним мальчишкам Ершиного омута.

Почему ерши водятся только в этом омуте, чем особенным приглянулось им тутошнее житье-бытье — кто их знает. Зато уж клюют они здесь что надо: десятка по три в иные вечера наловить можно!

По тропинке, вьющейся между колючими кустами шиповника, пробираются, держа над головами таловые удилища, Павлик Груздилов, Петька Комаров, коротконогий Алешка Сырцов и еще несколько парнишек. Колька Суханов тоже здесь. Странно ведет себя в последнее время, после случая с медведем, Колька. И в Павликовой компании бывать норовит, и с Филькой Подлогаевым водится. Побаивается, что ли, он задавалистого Фильку?

Шумной гурьбой шагают рыболовы к Ершиному омуту. Хоть и много их, на берегу омута места всем хватит. Еще даже лучше — оравой веселее! Далеко все-таки от деревни этот счастливый омут. Да и мрачновато там, очень уж глухо. Особенно после заката солнца, когда ерши, как назло, начинают клевать, ровно осатанелые.

Подходя к омуту, ступать стали осторожно: не распугать бы ершиную стаю.

На берегу, по уговору, разделились на две группы. Расселись по разные стороны от большого куста боярышника. Одна к одной закинули беспоплавные удочки. Затихли. Насторожились.

Со всех сторон омут окружен высоченными пихтами да кедрами. Длинные мохнатые ветви кедров, наклонившихся над омутом, и днем-то почти не пропускают солнечных лучей на глянцевую, без морщинок, поверхность воды. А ветру, даже если сильно разгуляется, сюда долететь сил не хватает. Шумит где-то вверху, путаясь в густых макушках кедров.

Тихо и сумрачно на омуте. Над гладью воды слоистой невесомой пеленой начинает плыть сизый туман...

До первых поклевок рыболовы сидят тихо, будто их и нет на крутом травянистом берегу. Но вот задергалась волосяная леска у Петьки Комарова (у него почему-то рыба всегда лучше клюет). Петька, вздрогнув, схватился за воткнутое в землю удилище. Привстал. Склонил голову набок и впился взглядом в подергивающуюся леску. Подождал, пока ее полукругом не повело по водяной глади. Потом резко выпрямился и вымахнул удилище вверх и влево. Волосяная леска завжикала, заходила в разные стороны, и из воды вылетел ерш, взъерошив на спине иглы и изогнув лопаточкой растопыренный хвост.

— Ха-роший попался! — завидущими глазами проводили его Петькины приятели.

— А заглотил-то! — довольно протянул Петька. — Чуть не до самого хвоста засосал, жадина!

Потом клюнуло у Кольки Суханова. Вытащив ерша, он недовольно проворчал:

— Фу, мелочь! Недоделыш какой-то.

Слукавил Колька. Нарочно так сказал. Ерш ему попался как ерш, средней величины. Но скуп и суеверен Колька. Обманул приятелей, чтоб не позавидовали ему. Как же — а вдруг после этого клевать у него хуже всех станет!

Но клев сегодня хороший. И не только у Петьки Комарова с Колькой Сухановым — у всех.

Один за другим мальчишки взмахивают вверх удилищами, снимают с крючков дрожащих колючих ершей и нанизывают их на куканчики.

И вот уже всполошилась, пропала тишина на Ершином омуте. Разгалделись удачливые рыболовы. За обычные мальчишечьи разговоры принялись. Кто про что... А ершам — хоть бы хны: клюют, точно после месячной голодовки. То и дело слышится:

— Тащи, разиня-я! У тебя повело!

Весело сегодня идет дело на Ершином омуте!

— А что, Паш, правда, что ты в район ходил? — прокричал кто-то с той стороны куста боярышника.

— Правда, — ответил Павлик.

— И с самим секретарем партии говорил?

— И говорил... — Павлик, взявшись за удилище, следил за подрагивающей леской.

— Это да-а!.. И чего же он тебе сказал?

Павлик, насадив на волосяную снизочку выуженного ерша, выпрямился, вытер о штаны мокрые ладони:

— «Чего сказал»? Правильно, говорит: давно пора у вас в Кедринке пионерский отряд организовать.

— Эвон что-о? — удивился Колька Суханов. — Хм. Пионерский отряд? Да ведь безбожники они страшенные, пионеры-то!

— Еще один божник объявился! — съязвил кто-то.

— И правильно, что безбожники, — спокойно проговорил Павлик, насаживая на крючок нового червяка. — Бога-то тю-тю!

— Когда учителя про это рассусоливают, еще и смолчать можно. За это им денежки платят, учителям-то. — Колька Суханов звучно сплюнул сквозь зубы. — А ты уж не звони как ботало!

— Я и не звоню. Нет его — и все тут!

— Эй, парни! — снова крикнул кто-то из-за куста боярышника.

— Что у вас там стряслось? — спросил Петька Комаров.

— Завтра же Иван Купатель. Чуете?

— А то! Купанем завтра девок!.. Я три здоровенных брызгáлки припас... Мировые — на полверсты хлещут!

По давнишней традиции в Кедринке, как и в других сибирских деревнях, в Иванов день — он бывает в начале июля — всякого встречного и поперечного норовили из какой-нибудь посудины водой окатить, либо если кто не очень далеко от речки попадется, то и искупать.

Мальчишки же девчонок, ровесниц своих, в этот день поливают из брызгалок. Заранее нарежут в осиннике высоченных, в человеческий рост, дудок-дидлей. Из самого толстого, нижнего, колена сделают брызгалку. Точь-в-точь велосипедный насос она — эта самая брызгалка. Только вместо поршня гладкий прямой прутик с намотанной на конце куделей...

— Знамо, купанем!

Постепенно делалось все темнее и темнее. Лески на фоне воды становились еле различимыми. Чтобы не прозевать поклевку, приходилось до рези напрягать глаза.

— Парни! А слышали, — заговорщически обратился к рыболовам Алешка Сырцов, — говорят, будто в полночь под Ивана Купателя папоротник расцветает. И еще

будто, кто цветок его сорвет, тот человек всесильным сделается. Что захочет, все исполнится по его хотению!

— Вра-аки!

— И не враки вовсе, — вступился за Алешку Колька Суханов.

— Ей-бо! — побожился Алешка. — Только цветок этот фиг сорвешь! Надо, чтоб в лесу дремучем ты был один. И в самую полночь! Чуете?

— Стра-а-ашно!

— И еще будто бы, — поеживаясь, вздрагивая всем телом, прошептал Алешка, — сказывают, когда папоротников цвет сорвать захочешь... только руку к нему протянешь — спасу нет, что тут делается! Голимые страсти-ужасти! Поднимется несусветный ветрище. По-страшенному зашатаются и заскрипят деревья. А черти рогатые, со змеиными хвостами, ровно коршуны, — ну над тобой кружиться, ну оглашенно реветь звериными голосами...

— А я говорю — брехня это! — Павлик вытащил из воды пустую удочку и, вращая удилище, принялся спиралькой наматывать на него леску.

— Бабкины сказки! — поддержал Павлика Петька Комаров. — Мы в пятом классе по ботанике проходили папоротник. Никогда он и не цветет. Он спорами размножается. Соображаете — спо-ра-ми? Так и написано в книжке!

— Ха! «Написано»! — передразнил Петьку Колька Суханов. — В книгах и не то еще нагородить могут. Знаем мы, поди, не маленькие!

— А что? Это, пожалуй, и проверить можно! — проговорил Павлик. — Очень даже просто... Даже сегодня можно!

— Как это? А?

Тихо стало на сумрачном берегу.

Павлик воткнул удилище в землю и, спускаясь к воде сполоснуть руки, пояснил:



— Гнилая Ляга рядом. Вон она. Там этого самого папоротника — возами не перевозишь. Можно сегодня же в полночь кому-нибудь из нас, одному... пойти туда. И нарвать, сколько хошь. И видно будет!

Со всех сторон посыпалось:

— Сморозил же! Ха! Вот сказанул!

— А ну! Попробуй-ка!

Сделалось уже совсем темно. С реки тянуло забирающейся под одежду холодной сыростью. Мальчишки с удилищами и ершиными снизками в руках тесно обступили Павлика.

— А штаны не спадут? Ха-ха! — хохотнул Колька. — Валяй попробуй!

— И попробую! — спокойно ответил Павлик.

Приятели, все еще не веря, что Павлик может решиться на такое дело, разноголосо галдели:

— Небось забоишься! Герой какой выискался! Ври больше!

— А я не вру! — Павлик отдал Петьке Комарову свое удилище и наловленных ершей. — Сейчас же и попробую — завтра ведь как раз Иван Купатель.

Условились поступить так. Сейчас уже поздно. Близко к полуночи. Все рыболовы, кроме одного Павлика, пойдут к колхозной кузнице и там будут ждать. А Павлик берегом направится в Гнилую Лягу. С часок там побудет. Потом с разных кустов насрывает папоротниковых листьев. И принесет их на показ мальчишкам — в доказательство, что был там.

— И всего делов-то! — уверенно заявил Павлик. — Ну, парни, я пошел. Только, чур, ждать! — глухо прозвучал напоследок его удаляющийся голос.

Рядом с кузницей, на самом берегу Таволги, рыболовы расположились кому как нравится — кто сидя, кто лежа. А Алешка Сырцов забрался на здоровенную че-

ремошину. Ведут между собой ребята негромкие разговоры. Неподалеку, через речку, скотный двор и колхозная конюшня. Сторож, дедушка Михей, ненароком не услышал бы. Живо пужанет по домам.

— Страшно, поди, Пашке там одному-то?

— Да он, может, — съехидничал Колька Суханов, — и не там вовсе! Может, где-то рядом. Притаился. Да над нами же еще и подсмеивается.

— А потом наврет сто коробов! — сказал кто-то из темноты.

— Хватит болтать-то! — оборвал скептиков Петька Комаров. — Расквакались будто лягушки перед грозой. «Наврет»! Или вы Пашку не знаете? Без папоротника он не вернется. Как пить дать! А папоротника, окромя Ляги, здесь нигде нету.

— Стра-а-ашно...

Медленно и нудно, как назло, идет время.

— Петь, а Петь, — спрашивает с черемошины Алешка, — а сколько вам с Пашкой сибпушнинщик за медведя-то отломил?

— Пока еще ничего не получили.

— За так забрал, что ли? — удивляются мальчишки.

Петька встает, по-стариковски потирает ладонями колени и степенно растолковывает:

— За шкуру-то он сам определил. А сколько стоит мясо, не знает. Сперва, говорит, его еще продать надо. В Агуйдет отвез. У нас-то в деревне мало охотников до медвежатины.

Медленно ползет-тянется время. Словно скользкая улита-рогатуха по мокрому песку перебирается. Много больше получаса уже прошло, а Павлика все-то еще нету. Мальчишки начинают позевывать.

— Петь, а Петь! — снова с черемошины подает голос Алешка Сырцов.

— Ну?

— Скажи, а это правда, будто вам с Пашкой участко-

вый Глазырин значки дать посулился? Как кто из вас про лосиного убивца пронюхает, так он сразу тому значок на грудь. А в районе мигом полтыщи премии отвалят, а?

— Кто вам такого наплел? — покачал головой Петька Комаров. — Ну и ну! И дурачье же! Хм. Вот и поживи с такими пеньками!

— А на кой тогда, — сердито спрашивает Колька Суханов, — под людей-то копать? Подумаешь, лось.

— Копать никто и не собирается! — строго говорит Петька. — Просто надо, чтобы все делали по уму, как положено. По нашим, советским законам. Ясно?

— Я-а-асно, — вроде бы недовольно отвечает Колька.

А время-то все идет и идет...

Притомилась за длинный летний день, угомонилась деревня Кедринка. Глухая тишина обняла, охватила всю округу. Только редко-редко где-то прокудахчут спросонья куры. Да лениво раз-другой тявкнет чья-то собачонка.

А Павлика все-то еще нет...

— Шабаш! — спрыгивает с черемошины Алешка Сырцов. — Кто как, а я домой. Мне лишняя лупка от матери вовсе ни к чему! Завтра скажете, как и что.

— И я... И я... И мы... — повскакали, засобирались домой парнишки.

У кузницы остался один Петька Комаров:

— Как знаете. Я подожду!

Минут через пятнадцать послышались на тропинке шаги. Потом из кустов показался Павлик Груздилов, подошел вплотную к Петьке, левой рукой он прижимал к груди охапку пахнущего свежими огурцами папоротника.

— Вот и я! — тяжело дыша, весело проговорил он. — А... где все? — заметив только одного Петьку, удивился Павлик.

— По домам подались. Отцов-матерей забоялись... Страшно было?

— Так себе. Не то чтобы уж очень, — сказал Павлик и, словно спохватившись, добавил: — Я там такое видел! Такое видел, Петечка... Волосы дыбом, чудо-юдо!

— Что еще?

— Огонь-то по ночам в Гнилой Ляге и взаправду объявляется.

— Ври больше! — прошептал Петька. — Мы же две ночи его там подкарауливали. И впустую. Забыл, что ли?

— И ничегошеньки-то я не забыл... Не в том месте мы с тобой его увидеть, Петечка, думали. Мы-то те две ночи рыбачили метров на триста ниже по течению Таволги. Понимаешь? Вот ничего и не видели. А они, может, и тогда в Лягу наведывались... Там такое творится!.. Ну да пойдем домой. Я тебе по пути все расскажу.

И приятели, подобрав удилища и уже подвянувших ершей, медленно направились в деревню. Охапку папоротника Павлик нес под мышкой. Показать же завтра мальчишкам надо! А то не поверят.

— Ну, Паш, — торопил друга Петька, — сказывай скорей. Чего там, в Гнилой Ляге?

И вот что поведал Павлик своему верному другу.

...Оставив ребят дожидаться у кузницы, Павлик пробрался вдоль берега по извилистой тропинке, известной каждому кедринскому охотнику, рыболову или ягоднику.

Павлик отлично помнил, что в одном месте, на склоне овражка, через который перекинуты две березовые слеги, папоротника полным-полно. Здесь, у этих березин, он и решил подождать полночи.

Дошел до овражка. Вот они — знакомые жердины. Местами береста на них еще сохранилась и даже сейчас, ночью, белела, будто клочки бумаги. Торопиться было некуда и незачем, и Павлик сел на середину березин, свесив в овражек ноги.

Вокруг было темно и тихо. Со дна овражка тянуло запахом прелых прошлогодних листьев. Павлик поеживался. Может, от сырости и ночного холода, а может... Жутко все-таки в такую пору одному в Гнилой Ляге!

«Поднимется страшенный ветрище... Заскрипят, закачаются деревья... — вспоминались ему Алешкины слова. — Будто черные коршуны, закружатся над тобой рогатые черти. Начнут кричать по-звериному...» Чушь какая-то!

Вдруг Павлик, вздрогнув всем телом, насторожился. Замер. Ему почудилось, что на реке (она была совсем рядом — за густым тальником) что-то плещется. Он прислушался... Точно! Сверху по Таволге, от деревни, кто-то плыл.

Павлик вмиг вскочил с жердин. Неслышно, по-кошачьи, вымахнул на край овражка. Остановился, точно ноги приросли к земле. Ему показалось, будто кто-то негромко разговаривает.

Прошла минута, другая... Теперь уж стало ясно, что по реке от деревни плыли на обласке, изредка перебрасываясь словами. Плыть и разговаривать, чувствовалось, старались как можно тише.

Где-то совсем рядом остановились, глухо постукивая веслами о борта обласка, осторожно вылезли на берег, вытащили обласок...

Странное чувство овладело Павликом в эти минуты. Удивительное чувство! С одной стороны, он вроде бы даже обрадовался, что не один здесь. А с другой... Что это за люди? И что им понадобилось в Гнилой Ляге? Да еще ночью. Не за папоротниковым же цветом плыли они сюда почти пять километров по Таволге. А мужики (Павлик сообразил, что их было двое) тем временем, повозившись на берегу, затрещали сухим валежником, полезли от реки вверх по противоположному склону овражка. Шагах в двадцати от тропинки остановились.

Слышно было, как совсем рядом тяжело дышали да покряхтывали.

— Далеко-то не таскай! — донесся до Павлика приглушенный голос.

— Ладно... Подумаешь.

Павлик, затаив дыхание, слушал. По звукам сообразил: там, шагах в двадцати от него, неизвестные люди растаскивали кучу хвороста: туда-сюда топают, шебаршат, потрескивают сухими ветками.

— Еще одно беремя — и шабаш.

Потом что-то глухо стукнуло. Не то чтобы сильно, а все-таки слышно. Ровно деревянная крышка от кадушки на землю упала.

«Гм... Что там такое?» — подумал Павлик. Единственное желание охватило его сейчас: побыстрее узнать, кто эти двое и что за нужда привела их в эту пору в Гнилую Лягу.

Медленно, стараясь ступать так, чтобы не треснула сухая ветка, Павлик начал пробираться на голоса. Шагов через десять он увидел, как вспыхнул неярким красноватым пламенем огонек, высветил низкие кусты и тотчас пропал. Ровно сквозь землю провалился.

«Вот он и огонь середь ночи в Гнилой Ляге! — подумалось Павлику. — Не зря, значит, в деревне поговаривали... А мы-то с Петькой его ниже по течению подстерегали...»

Павлик еще осторожнее двинулся вперед. И замер. Прямо перед ним был слабо освещенный квадратный лаз, уходящий отвесно в землю. Из лаза, точно из погреба, глухо доносились голоса:

— Не подошли ишшо... Шерсть совсем не слазит...

— Ага. Сам вижу — не слепой.

— Дня через три поспеют, должно. Не раньше.

— Ага... А то, может, и через четыре.

Голоса разговаривающих в подземелье Павлику были хорошо знакомы.

...Уже замигали впереди редкие огни Кедринки.

— Паш, — прошептал Петька. — Да кто же это был? В яме-то?..

Павлик нагнулся к самому Петькину уху, прошептал:

— Только, Петечка, до поры никому ни звука. Пока все не разузнаем.

— Да я!.. Что, не знаешь, что ли? — свистящим шепотом заспешил Петька. — Я как рыба... Ну?

И Павлик чуть слышно назвал имена тех, кого узнал по голосам в Гнилой Ляге.

В СУББОТУ В ГНИЛОЙ ЛЯГЕ

Утром в субботу, постучав, как обычно, скрюченным пальцем в окно, бригадир громко прокричал:

— Тетка Настасья, эй!

Настасья подошла к окну и распахнула его.

— Ему-то на прополку опять? — не дожидаясь, что скажет бригадир, спросила она. — Передам, передам. А у Польки, Шура, палец все ишшо нарыват. Прямо страсть. Так весь и разнесло.

Бригадир, не глядя на Настасью, сказал:

— Разбуди-ка Павла. Сам он нужен мне на пару слов.

Через минуту к окошку подошел Павлик.

— Ты сегодня, Павел, полоть не пойдешь, — распорядился бригадир.

— Что так, дядя Шура?

— Сегодня к девяти часам давай-ка в школу. Одежонку какую погрязнее надень. Пар-рты сегодня красить станете. Вчер-ра ваша заведующая, — Плотников

сдвинул и без того сросшиеся мохнатые брови, — пять парнишек спр-рашивала. И тебя тоже. Понял?

— Понял, — ответил Павлик. — А кого еще-то?

— Тебе р-разве не все одно? — спросил бригадир.

— Все одно. Только... — Павлик вдруг сообразил, что это как раз кстати — работать сегодня в школе. Если хорошенько поторопиться, покраску можно будет закончить задолго до вечера. А там и в Гнилую Лягу, глядишь, удастся наведаться. — Ты Петра Комарова, дядя Шура, назначь в школу тоже!

— Не думал я Петьку. Не здешний он теперь ученик.

— Дядь Шура! — высунулся в окно Павлик. — Будь добренький!

Бригадир молча поправлял свою сумку, собираясь шагать дальше.

— Тебе же ничего не стоит! А нам сегодня вместе вот как надо! — Павлик провел по шее ребром ладони. — А?

— Ну уж когда позар-рез — ладно, — махнул рукой Плотников. — Так и быть, нар-ряжу!.. Видно, насчет своего медведя что-то смор-роковать надумали, пр-рокур-раты? — напоследок пророкотал бригадир.

— Да-да! — соврал обрадованный Павлик. — Насчет его самого! И как ведь ты только догадался? Вот хитрющий!

Довольный собой, бригадир направился к соседней избе.

Всю работу в школе, как Павлик и предполагал, закончили рано: едва-едва солнышко перевалило за полдень.

Попрощавшись с учительницей, Павлик с Петькой сразу же, не заходя домой, направились в Гнилую Лягу.

Хорошо в кедринской тайге летом в ясный солнечный день!

Идешь, продираешься сквозь кусты краснопрутника

или колючего шиповника. Снизу петляет, вьется натоптанная канавкой тропиночка. Надежная, верная: куда надо, туда и приведет. Понятно, если известно, к какому месту ее протоптали. Сверху, с трудом прохлестывая узорчатые верхушки деревьев, ласково, осторожно пригревает солнышко.

Где-то отчаянно барабанит дятел. Весело, суматошно, словно ученики на перемене, трезвонят хлопотуны-дрозды. Совсем рядом, невидная из-за зеленой гущины листьев, твои будущие года считает кукушка: ку-ку, ку-ку, ку-ку... Донельзя беззаботна кукушка. Яйца свои порассовала по чужим гнездам: пусть деток ее другие птахи-работяги высиживают и выкармливают. Кукушка сегодня щедра на диво: много-много лет накуковала. А ведь и правда — много! Как же иначе — вся жизнь еще впереди!

— Вот сюда, — показал рукой Павлик, когда они с Петькой дошли до перекинутых через овражек двух березин. — Шагов двадцать отсюда.

Осторожно зашагали, раздвигая руками густой кустарник, в указанном Павликом направлении. Земля здесь поднималась, точно вспучившись. Подошли к самому бугорку.

— Все. Здесь. — Павлик кивнул головой в сторону большой кучи хвороста. Трава вокруг нее, если повнимательнее присмотреться, была слегка примята. Рядом, на лысой проплешине, возникшей на месте небольшого костерка, отпечатаны следы больших сапог с глубокими впадинами от каблуков.

— Хитро придумано! — прошептал Петька. — Сто раз мимо пройдешь, не догадаешься.

— То-то и оно, — согласился Павлик. — А главное — никого здесь не бывает. Сам знаешь: не больно много у нас охотников в Гнилую Лягу ходить.

Прав был Павлик, говоря так о Гнилой Ляге. Нехорошим, нечистым местом считается она с незапамятных

времен в Кедринке. Даже само название ее пугает мальчишек какой-то непонятной таинственностью. Ну, «Гнилая» — это еще ясно. Ясно и справедливо: низкое и болотистое место. То и дело попадаются проплешины, заросшие густой травой. Набредешь на такую «полянку» — и сначала даже обрадуешься: должно, хорошо по ней через болотину пройти. Устанешь ведь продираться по хмурому разнолесью да перелазить через валежины. А попробуй ступи на нее — сразу закачаешься на коварном зыбуне, как на волнах. И метнешься обратно на кромку. Да поспеши. Иначе засосет тебя зыбун, упрячет на веки вечные. Еще до колхоза, когда единолично жили в Кедринке, жеребец дяди Еремея, сказывают, нашел здесь свою погибель. Пропал в этих местах где-то: в зыбуне, спутанный увяз без следа. Так что объяснимо это название «Гнилая». Да и воздух здесь в летнюю пору всегда тяжелый. Зловонной прелью да гнилью пахнет... А еще и «Ляга». Ни один человек в Кедринке толком не скажет, что бы это такое значило. Вот и пугает мальчишек необъяснимой таинственностью Гнилая Ляга.

Мальчики растаскали кучу хвороста и откинули в сторону тесовую крышку. Перед ними открылся квадратный лаз, уходящий метра на полтора в землю. Ступенек вниз не было. На дне лаза, чтоб удобнее спускаться и подниматься наверх, стоял толстенный чурбак.

По очереди спустились в землянку. Вход в нее был заставлен тонкими тесинами, схваченными двумя узенькими поперечинами.

Отвернув тесины в сторону, приятели, как по команде, схватились за носы: из землянки шибануло чем-то едким и кислым.

— Ну и запашок, фу-ты ну-ты! — брезгливо фыркнул Петька.

В темноте землянки Павлик с Петькой долго оглядывались: со свету-то сначала ничего не видно, но постепенно глаза привыкли.

С левой стороны стояли две высокие деревянные кадки, плотно прикрытые покрышками. У задней стены — такая же кадка, только без крышки. Какой-то жидкости в ней — почти до самого верха.

Петька сунул в эту кадушку палец, нюхнул и, пожав плечами, сказал:

— Вроде пареной корой воняет.

— Дубить кожи собираются, — догадался Павлик. — Ясней ясного.

Справа, вдоль всей стены землянки, в метре от пола настлан полòк, как в бане, только узенький — всего в две плахи. На полкé какие-то деревянные лопаточки, железные скребки. В углу — фонарь «летучая мышь» с густо закопченным стеклом.

— Прямо кожевенный завод... — прошептал Павлик.

— Точь-в-точь маленький заводишко, — откликнулся Петька.

Приподняв крышку одной из кадок, Павлик потыкал в нее гладко оструганной палкой, которая стояла у кадушки, сказал тихо:

— Полным-полна коробочка... До самого верха.

— Шкуры киснут, — определил Петька, — чтобы шерсть облезла.

Он встал на колени и принялся сгребать на гладко утрамбованном полу в кучку какие-то клочки.

— Паш, глянь-ка! — позвал он Павлика поближе к свету.


Павлик подошел, взял из рук приятеля колючий свалявшийся клочок, пристально оглядел его.

— Шерсть-то лосиная. Чуешь?

— Вот они где, — прошептал Павлик, — те два сохатых, чьи черепушки мы в лесу обнаружили.

— Захватим его с собой, — сказал Петька, — Иван Иванычу показать надо.

Заставив вход в землянку сколоченными тесинами, прикрыв лаз квадратной накрышкой, привалив его, как



и было, кучей хвороста, приятели не мешкая направились в Кедринку. Надо было поскорее рассказать обо всем увиденном.

Дослушав до конца рассказ приятелей, Иван Иванович нахмурился. Потом, поразмыслив, сказал серьезно:

— Ну, спасибо вам, друзья! Большое и очень важное дело вы сделали. Спасибо.

— Иван Иваныч, — спросил Павлик, — а что делать дальше будем?

— Дальше? Дальше вот что... Сегодня суббота. Завтра в колхозе выходной. Самое подходящее время хозяевам этой ночью навестить свое тайное «заведение». Да и шкуры-то, видимо, как раз поспели. Самая пора.

Участковый пригласит двух-трех мужчин-колхозников, понятых. И к ночи — туда, в Гнилую Лягу. Место, где находится землянка, участковый знает. Помнит он и неширокий овражек, и две березовые жердины через него. Так что показывать ему ничего не нужно — сам найдет...

Так вот... Прихватив понятых, незаметно в сумерках Глазырин приведет их к тому самому месту в Гнилой Ляге. И устроят они засаду.

— А нам... нельзя бы? — попросил Павлик.

Иван Иванович проговорил строго, как отрезал:

— Ни в коем случае! Маловаты вы еще... А там, в Гнилой Ляге, всякое может случиться.

Петька разочарованно почесал за ухом, хотя и не смог подавить облегченного вздоха.

— А вот отцов ваших я, пожалуй, и приглашу. С ними-то мы это дело как раз и провернем, с родителями вашими. Да еще с пастухом Макаром.

Вечером Емельян Степанович, возвратившись от участкового, громко, чтобы все слышали, сказал:

— Мне, слышь, Настасья, сегодня дома ночевать не придется.

— Это почто же? — удивилась мачеха.

— Гнедко у меня, понимаешь, захромал что-то. Сам отведу на культстан. Конюху накажу, чтобы присматривал за ним получше. Да там, в стане, и переночую.

...Долго-долго не мог заснуть в эту ночь Павлик.

Сначала все думалось ему о Марине Маховой. Очень уж хорошо пела она сегодня на репетиции! И все почему-то на него посматривала. Или это, может, только Павлику так показалось? Сейчас, ночью, выдумал? Да нет. В самом конце репетиции Маринка подмигнула ему так, как умеет делать только она одна. Одна на всем белом свете.

Потом сами собой мысли перенеслись в Гнилую Лягу. Что-то там в это самое время происходит?

В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Позднее обычного просыпается сегодня деревня Кедринка. Нехотя стряхивает с себя сон короткой, как воробьиный шаг, летней ночи. Привычный торопливо-четкий ритм ее жизни в это утро много размереннее, степеннее. Так затихает речка Таволга, перевалив через бурливый шивер-перекат, в спокойной тишине Лукерьиного омута.

Не слышны в утренних сумерках бухающие шаги Александра Плотникова. Не барабанит он в оконные рамы, не назначает на колхозные работы.

Сегодня, что в горячую летнюю пору случается не всякую неделю, в Кедринке выходной день.

В поля поедут только молодые парни да девчата.

Предприимчивый бригадир Александр Плотников с Марьей Петровной организовали для них интересное мероприятие. Сначала, разбившись на две бригады, молодежь засилосует за Притоком две ямы. Потом на культстане Марья Петровна сделает доклад об экспедиции челюскинцев. После доклада — самодеятельный концерт. Выступят все местные знаменитости — плясуны и певуньи. Играть будут три самые лучшие кедринские гармошки.

Вместе со взрослыми в концерте примут участие и ребятишки-школьники: прочитают стихи, разыграют несколько сценок на антирелигиозную тему. Маринка Махова исполнит свой лучший номер — споет частушки о героях-летчиках. А Кешка Башков решился наконец в открытую посостязаться с Феней Глыбиной: кто кого перепоет. Кешка специально для этого случая напридумывал с десяток новеньких частушек-подковырок про кедринских парней да девушек. Половина из них про Фенечку.

Чтобы все вышло нарядней и праздничней, с вечера лошадиные упряжки — оглобли телег, дуги, хомуты и шлеи — обвили, изукрасили разноцветными лентами.

Выезд за Приток наметили на девять часов утра.

Словом, позднее обычного просыпаются сегодня кедринцы.

Не все, однако...

В шестом часу утра в избу к Груздиловым нежданно-негаданно влетела Аксинья, Никиты Подлогаева жена.

Полуодетая, простоволосая, она в несколько шагов пересекла пол от порога до красного угла и травяным мешком свалилась на лавку.

Настасья, хлопотавшая у печного шестка, выпрямилась, с тревогой посмотрела на Аксинью и, вытирая руки о подоткнутый подол, подошла к гостье.

— Почто это ты, кума, аль что стряслось?

Аксинья, казалось, ее не замечала. Раскосматив длинные волосы, она всхлипывала, размазывая по щекам слезы большими пухлыми ладонями.

— А, кума? — Настасья приподняла ее за вздрагивающие плечи.

Павлик, крепко спавший на полатях, проснулся, когда Аксинья на всю избу запричитала:

— Ой, тошнехонько-растошнехонько! Э-эх!

Напричитавшись до хрипоты, Аксинья принялась рассказывать о том, что случилось сегодня под утро в их доме.

Только-только начало рассветать, когда крашеная подлогаевская калитка громко хлопнула — кто-то сердито толкнул ее с уличной стороны. В просторную ограду двора вошли Никита с Василием, за ними еще четверо.

Вскочив с постели (сердце почуяло что-то дурное: рановато было братьям возвращаться из лесу), Аксинья подбежала к окну и в ужасе застыла: вслед за Никитой и Василием шел участковый Глазырин. Остальных троих поначалу Аксинья толком не разглядела: темновато еще было, да и перепугалась она до крайности.

Все шестеро прошагали под окнами и свернули за угол, под тесовый навес, прикрывавший половину двора — от крыльца до амбара.

«Никак, — господи, пронеси и помилуй! — с обыском», — смятенно подумала Аксинья.

Тотчас же в дом не вошел, а прямо ворвался, громко топая, Никита.

— Ключи от амбара!.. Живо!.. Все... Застукали... Обыск.

Обыска-то, в сущности, и не потребовалось. Пони-

мая, что в главном — в потайной выделке лосиных кож — попались, братья сами показали, где у них хранится лосиное мясо.

В погребе, сооруженном под амбаром, стояла большая кадка, со всех сторон обложенная кусками подтаявшего льда. Она более чем до половины была заполнена соленой сохатиной. И в амбаре, за снизками березовых веников, на веревочных вожжах висела вяленая лосятина.

— Смотрите! Чего уж темнить-то, — стучал себя кулаком в темя Никита. — Кой в этом прок?.. А так, может, суд и засчитает добровольное признание. А, Глазырин? — пристальным взглядом впился он в лицо участкового.

— Все может быть... — проговорил участковый. — На то он и суд народный. — Потом быстро, точно в одно слово, бросил: — Из чего стреляли?

Братья, обменявшись растерянными взглядами, молчали.

— Ну?

В деревне все знали, что ружья-дробовика у Подлогаевых не было. Охоты по боровой и водоплавающей дичи братья не признавали. При случае даже говаривали: «Кто стреляет да удит, у того никогда ничего не будет».

— Ну? — настойчиво повторил Глазырин и добавил: — Вот это признание суд обязательно учтет... в вашу пользу.

Никита с Василием, опустив головы, продолжали отмалчиваться.

Аксинья, полуодетая, до сих пор молча стояла на крыльце и сквозь слезы наблюдала за происходящим. Видя замешательство мужа и деверя и подумав, что те на вопрос участкового не могут ответить с перепугу, она торопливо проговорила:

— Да ружьишко у них... Старенькое. Совсем нику-

дышное, короткое. Вон в поленнице... От Фильки прячут, чтоб не сбаловал.

— Ну и дура же ты, кобылища! — прошипел сквозь зубы Никита, не глядя на жену.

— Сгинь с глаз, растяпа! — дернулся к Аксинье Василий.

Откуда было знать Аксинье, что как раз этого-то и боялись больше всего братья Подлогаевы. И было чего! В высокой поленнице дров, застаревших до черноты, у них оказался тайник. В тайнике лежали не одно, а два «никудышных» ружьишка, жирно смазанных и завернутых в рогожины. Ружья действительно были короткими. Потому они так и называются — «винтовочные обрезы». Откуда было знать Аксинье, что обрезы эти самые — совсем особое дело? И судебная статья за них — тоже совершенно особая.

И враз сникли братья Подлогаевы. После мгновенной вспышки гнева на Аксинью они съежились, показалось — в росте поменьшали. Ко всему, что происходило во дворе потом, они, казалось, были равнодушны и безразличны. Только когда пастух, кривой Макар, вслед за обрезами вытащил из тайника брезентовую сумку с позвякивающими в ней какими-то железками, Василий плюнул и грязно выругался.

— А вот и пропащий стру́мент от колхозной молотилки! — спокойно проговорил Макар, как будто ему и раньше было известно, что инструмент этот находится именно здесь, у Подлогаевых.

...Было это ранним осенним утром в прошлом году.

Поеживаясь от колючего морозца, оставляя на заиневшей хрустящей траве стежку следов, Василий пришел на колхозный мельничный ток за ржаной соломой для подстилки поросятам.

Мельник дядя Еремей крепко спал в пристроенной к мельнице маленькой будке. Всю ночь он молол пше-

ницу нового урожая для выдачи колхозникам на трудодни, вот и притомился.

В первое время колхозной жизни кедринцы обмолачивали хлеба прямо в полях. Под открытым небом на хорошо расчищенной площадке устанавливали простую молотилку-«барабан» с конским приводом. Заканчивалась работа здесь — новый ток оборудовали в другом месте. Хлопотным и долгим делом была такая молотьба, особенно если осень выдавалась ненастной.

После сооружения стационарного тока при мельнице дело пошло куда лучше...

Навертев здоровенную вязанку соломы, Василий еще раз заглянул в клетушку мельника Еремея. Тот продолжал спать-похрапывать.

Василий приблизился к молотилке, обошел вокруг нее, оглядел спереди барабан, сзади соломотряс. Даже провел ладонью по крашеному боку, заботливо очищенному Еремеем от мякины. «Хороша, сволочь!» — подумал.

«...Берегите подшипник! Не сожгите его, — вспомнились Василию слова агуйдетского механика, устанавливавшего молотилку. — Следите за смазкой. Хоть в запчастях еще один есть — все равно берегите! Подшипники ныне — дефицит».

Василий коротко, воровато взглянул на дорогу от мельницы до деревни: «Не несет ли нелегкая кого-нибудь?» Потом быстро и бесшумно, ступая только на носки, метнулся в мельницу и вытащил из шкафчика увесистую брезентовую сумку с инструментами и запчастями для молотилки. Выйдя из мельницы и еще раз убедившись, что дорога к деревне по-прежнему пуста, а мельник продолжает спать, он, озираясь по сторонам, занялся «делом».

Скоро все было кончено. Снаружи шкив для ремня в полном порядке. А внутри... Внутренность под-

кам на труд
дринцы обм
рытым небо
авливали пр
риводом. З
оборудов
делом бы
авалась нек

при мельн

, Василий ещ
. Тот продол

ошел вокру
мотряс. Дан
тливо очище
лочь!» — п

о, — вспомни
ка, устанавли
й. Хоть в зап
гите! Подши

а дорогу о
егкая кого-ни
ая только н
из шкафчик
ентами и за
цы и еще ра
ежнему пуст
по сторонам

ив для рем
сть подг

шипника Василий забил песком, а сверху затер солидолом. Догадайся попробуй!

Возвращаясь домой, Василий сначала хотел было всю сумку с инструментами закинуть в Таволгу, где поглубже. Чтобы, как говорится, и концы в воду! Да потом передумал, жадность одолела:

«Авось дома пригодится».

Вытащил из сумки запасной подшипник и зашвырнул его в омут:

«Вот так! Ищи-свищи теперя».

Пряча сумку за пазуху полушубка, еще раз огляделся по сторонам. Вокруг никого не было. Только на той стороне реки, из-за тальников, Макар выгонял на пастьбу колхозное стадо. Слышно было, как он хлопал бичом.

— ...Э-эх! — заскрежетал зубами Василий, когда Макар, развернув брезентовую сумку, передал ее участковому Глазырину, прошептал еле слышно: — Сам, на свою погибель...

— А ведь я, Васька, осенью-то видал, как ты подшипник в Таволгу пужанул! — прищурился Макар единственным глазом на Василия. — Еще чудно мне тогда показалось издали: такой лоб, а ровно маленький, «блины печь» сочинился. Камешки в реку швыряет. Потом уж сообразил, что за блин ты в то утро испек. Да припереть-то тебя нечем было... Пока ребятишки, дружки, клеем склеенные, Сенька-Фенечка, его из омута не выудили, подшипник-то. Вот так, однако.

— А мы-то все на парнишек-несмышленышей грешили, — покачал головой отец Павлика. — Тут, товарищи, вредительством пахнет!

— И ведь ни в жисть бы... ишо вчерась... не подумала, — прерывисто проговорила Аксинья, вытирая мокрое от слез лицо поданным мачехой полотенцем. —

Мильцанеру-то Глазырину забирать Василия с Никитой твой мyженек помогал... Срамота-то какая-а!

— Да ты что, кума? Емельян-то сегодня и дома не был. На культстане... — Настасья не договорила, зажала рот рукой, догадалась: и про Гнедка, и про ночевку на культстане Емельян придумал, нарочно сказал, чтобы, стало быть, обмануть ее...

— Он... Да ишшо Комаров с одноглазым Макаром... Ой! — тяжело вздыхала и ойкала Аксинья. — В школе, ой, все они сейчас.

— Вона-а! — Мачеха опустилась на лавку рядом с Подлогаихой. — Хм!.. А я-то, дурища, ни сном ни духом не подумала.

— А еще Филька сегодня сказал, — Аксинья кивнула головой на полати и перешла на тихий шепот, — разнюхал-то будто про их дело он, пащенок окаянный...

— Да это как же?

— Он, кума, он! — взахлеб шептала Подлогаиха. — Филька говорит, будто ночью под Ивана Купателя он, варначина, в Гнилую Лягу таскался... А Никита с Василием в энту ночь как раз и были тама.

— А ведь и правда! — шепотом согласилась мачеха. — Он, окаянный, в ту ночь перед самым рассветом домой приперся... Ну да пойдем, кума, я тебя провожу. И что же теперь будет-то, господи?..

В избу мачеха не возвращалась долго.

За это время Павлик успел слезть с полатей, умыться. Завтракать он не стал: не до того было. И запаса с собой за Приток не взял: на культстане, объявили, сегодня общий обед будет.

Когда мальчик проходил оградой, мачеха с Подлогаихой будто и не видели его. Они все еще стояли и шептались. Мачеха вслед ему что-то сказала, тихо и зло, но Павлик не расслышал. Он торопился к колхозной конторе: не опоздать бы к выезду за Приток на силосование.

ОБВЕС НЕДОМЕРЫЧ СЕРДИТСЯ

Как быстро, неудержимо быстро летит время!

Вроде бы совсем недавно закончился учебный год и начались летние каникулы, а сколько разных незабываемых событий успело произойти с той поры в Кедринке!

То Петька Комаров с Павликом Груздиловым на диво всем деревенским жителям не сплоховали на медвежьей охоте.

То братьев Никиту с Василием Подлогаевых участковый Иван Иванович Глазырин накрыл в кожевенном заводишке в Гнилой Ляге. Арестовали Подлогаевых. Скоро, слыхать, судить будут.

С того дня, как братьев-браконьеров под конвоем отправили в районный центр, в груздиловской избе стало даже спокойней, чем раньше. Мачеха Настасья поутихла. Тонкие синюшные губы ее постоянно плотно сжаты, без того узкие глаза совсем сужены — не разглядеть, что там, в этих темных мачехиных глазах. И теперь все помалкивает... Видно, подействовали слова мужа, Емельяна Степановича, которые он сказал вечером того памятного выходного дня, когда братьев Подлогаевых в райцентр уводили:

— Ты, Настасья, вот что: ты его, слышь, не смей трогать! Про сына мово добрые-то люди слова плохого не скажут. Не ослеп и не оглох я покамест. Ясно? — твердо, внушительно проговорил Павликов отец. — Так и заруби, слышь! А за братовьев своих его не вини: сами виноваты! Все в деревне их осуждают. Туда им и дорога, говорят!

Потом возвратился из районной больницы «летчик» Санька Лихов. Иначе его в Кедринке теперь и не назы-

вают: «летчик» да «летчик». Правда, Санька на это нисколько не обижается. Только, улыбаясь, прищуривает левый глаз да поскребывает пятерней в белобрысом затылке.

А сколько колхозных дел сумели переделать нынешним летом кедринские школьники!

Сперва занимались прополкой яровых зерновых. После этого остро наточенными тяпками окучивали колхозную картошку. Помогали взрослым в силосовании и сенокосе. Мальчишки верхом на лошадях утаптывали свежескошенную траву в силосных ямах и возили на волокушах копны. Девчонки ворошили и сгребали граблями сено.

Нет, что и говорить, много дел успели переделать кедринские школьники этим летом!

И вот уж идет последний летний месяц — август...

А главное событие для кедринских ребят впереди — получил Павлик Груздилов известие: накануне учебного года пришлют в Кедринку пионервожатого.

Вторая половина августа и начало сентября — самая щедрая пора в кедринской тайге: поспевает брусника, черемуха, клюква, а в кедрачах дозревают шишки.

Для заготовки кедровых орехов, сбора брусники и клюквы создаются специальные маленькие бригады из колхозной молодежи. Бригады эти потом на целые недели уходят из деревни. Живут в тайге. Собранные ягоды и очищенные орехи ссыпают в специально срубленные амбарчики. Вывозить все это добро будут в начале зимы — по первому санному пути.

Заготовкой же сырых груздей в Кедринке по неписаной традиции занимаются в августе ребятишки-школьники.

«Два благих дела мальцы делают! — говорят, улыбаясь, отцы с матерями, завидя устало возвращающихся грибников. — И колхозу помогают план выполнить, и себя обеспечивают».

Грузди школьники сдают в местный ларек. Вырученные от сдачи груздей деньги ребята получают сами и большей частью на себя же тратят: покупают учебники, тетради, цветные карандаши и краски, иногда даже кое-что из обуви и одежды.

Ходить в Зареченский лес за сырыми груздями — занятие развеселое.

Большими ватагами — в десять-пятнадцать человек — отправляются мальчишки и девчонки ранними августовскими утрами по грузди. У каждого за плечами легкий, как перышко, берестяной кузовок на опоясочных лямках, на согнутой руке — ведерная корзинка с провизией: уходят на день-деньской.

Знатно богат Зареченский лес и смородиной, и черникой, и брусникой. А на сырые грузди — и того больше: по-сибирски безраздумно щедр. Бери не выберешь!

Частенько случается: набредешь на березовую круговину, поросшую низким брусничником... Приглядишься хорошенько. И даже дыхание перехватит: поднимая белыми шляпками прошлогодние листья, тесными семейками-кучками толпятся грузди, смотреть любо. Скидывай кузовок и принимайся попроворнее срезать их. Половину, а то и побольше половины кузовка на одной палестинке нарезать можно! Нарежешь без корешков и плотно-плотно укладешь в кузовке — шляпка на шляпку. А они — любо-дорого посмотреть — белые-белые, с бархатистой влажной поверхностью. Потому-то и сырыми называются.

И чем меньше шляпка, тем выше приемная цена. Застарелые, большие грузди для сдачи невыгодны. Их оставляют дома, для засолки на зиму. Десятиведерными бочками в больших семьях запасают, чтобы хватило на целый год, до нового урожая.

Часам к семи вечера у ларька столпились грибники — Павликова с Санькой Лиховым компания. Снятые

с плеч кузова и корзинки-плетухи, наполненные груздями, тесно расставили вдоль ларечной завалинки. С устатку двигаются медленно, лениво. Кто уселся на завалину, кто, упершись локтем, разлегся на пыльной вытоптанной траве. Один только Санька Лихов, заложив руки за спину, прищурив левый глаз, слоняется вдоль ларечной штакетной изгороди. Он временами взглядывает в небо: видно, опять об аэропланах размечтался «летчик». Словами грибники перебрасываются нехотя: за день-то обо всем — и важном и не очень важном — перебалагурили. Ждут продавца. Грузди надо сдать обязательно сегодня: за ночь они, если не залить их водой, нагреются, «загореть» могут.

Вот, поскрипывая блестящими хромовыми сапогами, идет продавец Маркелыч. Таких сапог, как у Маркелыча, во всей деревне больше ни у кого нет. Начищены-надраены — смотреться можно в них, как в зеркало. Голенища длинные-предлинные, в гармошку сдвинуты. За ухом у продавца, как всегда, химический карандаш.

Важной птицей («не мужикам-колхозникам чета!») считает себя Маркелыч. Не с навозом возится — в лавке торгует. А в этом деле без особого ума-таланта не обойдешься! Потому-то и ходит по Кедринке продавец степенно, как гусь, и одеваться привык по-особому. С месяц назад диковинную вещь привез из Агуйдета — велосипед. Может, в ларек для продажи этот велосипед направили, а он его к себе домой забрал. Да только кататься на нем все-то еще никак научиться не может. Пока мальчишки его всей деревней поддерживают-толкают, он еще скрипит педалями, держится, вцепившись в руль прямыми, ровно палки, руками. А стоит им только от Маркелыча отступиться, он сразу землю носом пашет. Обязательно его в какую-нибудь лужу-ямину заволокет!

В ларьке торгует продавец «с умом», как выражается мачеха Павлика Груздилова. «Этот умеет жить!» —

нередко говорит она с укором Павликову отцу Емельяну Степановичу. Хотя все умение Маркелыча заключается в самом обыкновенном обмане. Редко когда малограмотная баба или малолеток-несмышленыш из ларька необсчитанными уйдут. Неразлучные друзья Сенька-Фенечка про него сегодня частушки пропели. Обвесом Недомерычем оказался Маркелыч в тех частушках:

Ты в ларьке не будь балбесом,
если зазеваешься,
тама живо ты Обвесу
на уду поймаешься!

То не сдаст кому-то мелочь,
то на счетах обсчитат,
В этом деле Недомерыч —
выдающий прокурат.

Хорошие вышли у Сеньки-Фенечки частушки. Правильные. Хоть и корявые немного, да и любимое слово Шурки Плотникова «прокурат» друзья сюда зачем-то ввернули. Теперь Маркелыча так и звать начнет ребятня в Кедринке — Обвес Недомерыч. А Павлик надумал сегодня повнимательнее понаблюдать за Недомерычем. Если по привычке своей на обман пойдет, то и прижучить его хорошенько не грех.

Грибники, издали завидя продавца, проворно вскакивают, разбирают свои кузовки и корзиночки.

Маркелыч, молча и важно оглядев всех, отпирает огромный замок и открывает калитку в приларечную ограду, махнув грибникам рукой, — заходите, мол. Ребята один по одному, вперевалочку тянутся за продавцом.

Начинается сдача-приемка.

Грузди взвешивают на больших товарных весах, металлические части которых от постоянного нахождения под открытым небом изрядно заржавели. Деревянная платформа весов в ошметках засохшей грязи.

— Весы-то бы почистить, а, дядя Недоме... Ой, что это я?.. Дяденька Маркелыч! — под взрыв хохота грибников, сконфузясь, поправляется Марина Махова. Привыкшая во всем к чистоте и порядку, она поднимает с земли обломок дранки и собирается соскрести с платформы грязь. — Наросло шибко много!

— Зря тревожитесь, красавица! — останавливает ее продавец. — Они у нас к этой грязи сызмальства привыкши, хе-хе, — острит Недомерыч и уже строго, сквозь зубы добавляет: — Не трожь, кому сказано!

— Так ведь вы и ошибиться можете...

— Никак-с нет! — опять улыбается продавец. — Не ошибемся ни в коем разе. Мы к ним тоже самое привыкши!

— Да они ж сбрехать могут, — вступается за Марину Санька Лихов. Он прищурил левый глаз и, скособочившись, правым хитро сверкает на Обвеса Недомерыча. — На них, поди, два кило всякой дряни.

— Во-во! — щелкнув пальцами, весело соглашается продавец. — Это ты, мо́лодец, тонко подметил... Ну, два не два, а одно кило верняком будет! Отсюда, значится, выход... Мы, значится, взвесим — и килограмм сбросим. Взвесим — и сбросим. И все получится как в аптеке: тютелька в тютельку, значится! Ясненько?

Грибники, пожимая плечами, неохотно отвечают:

— Я-а-асно...

Первой взвешивает свои грузди Марина. Поместив на платформу весов кузовок с корзинкой, она ревниво следит за каждым движением продавца.

Подвесив на покачивающийся металлический стержень маленькую гирьку с прорезью, приемщик, потюкивая кончиками пальцев, начал двигать туда-сюда хомутик на заржавленном рычаге с цифрами. Когда рычаг уравновесился, Недомерыч щелкнул запором, вытащил из-за уха химический карандаш и приказал Марине:

— Полный ажур! Иди вываливай вон в ту бочку.

— Сколько хоть вышло-то? — спросил Павлик.

Недомерыч недовольно посмотрел на Павлика и съязвил:

— Ты, к примеру, кем этой барышне доводишься: адвокат, значится, или в женихи набиваешься? Хе-хе!

Засмеялся и кое-кто из грибников.

Павлик сконфузился, в сердцах подхватил Маринин кузов и понес его к указанной продавцом бочке, стоящей у склада под навесом. Марина тем временем, не сводя с Недомерыча глаз, сняла с весов корзинку и ждала.

Продавец, шевеля жирными губами, начал писать в своем блокноте:

— Значится, та-ак... Ваше ФИО, красавица?

— А это что такое, дяденька?

— Как твое фамилие, спрашиваю?

Марина, прыснув в кулак, назвалась.

— Махова, значится. Мэ... Так и запишем. Одиннадцать кило.

— Ой! Мало-то как вышло! — не удержавшись, вслух удивилась Марина. — А мне, когда несла, так тяжело казалось. Надо же!

Продавец сунул карандаш за ухо, подмигнул Марине и забалагурил:

— На походе и игла тяжела, как говорится. Так-то, красная девица!.. Следующий!

Быстро идет дело. Легко, весело работает приемщик. Гирьками, хомутиком играючи позвякивает. Карандашом в блокноте пописывает. Шутки-прибаутки ну ровно горох рассыпает. Ловко идет сегодня сдача-приемка груздей!

Вот уже двое только остались — приятели закадычные Санька Лихов да Груздилов Павлик.

Продавец сперва взвесил Санькины грузди.

— Тринадцать кило... с половиной... — медленно произносит он, записывая в своем блокноте.

— Дядь! А вы, случаем, не того, не подошиблись? — поглядывая на Павлика, почесывает «летчик» Санька свой белобрысый затылок. С виду Санька маленький, а на самом деле сильный, жилистый. Плотный, как говорят в Кедринке. Да и остроглазый, проворнющий до невероятности. Изо всех грибников — самый большой кузов у него. И натрамбовал сегодня Санька груздей так, что шляпки послипались.

— Случаем, хе-хе, не того, — слащаво хихикает Обвес Недомерыч. — Не подошибся. Ни синь-пороху, добрый мóлодец!

— А мне тятька сказывал, — сбычив шею, недовольно бурчит Санька, — что, если доверху и корзинка и кузов, двадцать кило верняком должно потянуть. А тут...

— А ну давайте еще разок! — строго нахмурился Павлик, зайдя с лицевой стороны весов. Схлопотав за Маринкины грузди от Недомерыча «жениха», он было отказался от своей затеи — проследить сегодня за продавцовой работой. Но Санькино несогласие с приемщиком будто подтолкнуло Павлика повторить взвешивание. — Еще разок свешайте, а я гляну!

Обвес Недомерыч сердито кашлянул, поморщился, презрительно оглядел Павлика с головы до ног и резко отщелкнул замок. Рычаг весов, несколько раз кивнув, уравновесился.

— Валяй, зыркай, грамотей-профессор!

Павлик уперся взглядом в рычажок. Цифры на нем из-за ржавчины были еле-еле различимы.

— Так. Так-ак... — медленно говорил он, водя указательным пальцем по шершавой поверхности рычажка. — Так! Почти девять с половиной кило.

— Килограмм, значится, сбрасываем на грязь! — засуетился Обвес Недомерыч.

— Так, сбрасываем... — вслух размышлял Павлик, не глядя на продавца. — Значит, остается восемь с половиной кило... Да еще прибавим гирьку... — он снял со стержня плоскую с прорезью гирьку и, поднеся ее к самым глазам, всмотрелся в затертые цифры.

— Гирька эта, грамотей-прохвессор, через систему данных весов показывает ровно пять кило, — стараясь быть спокойным, с издевкой, но твердо заявил продавец.

— Как это? — вскинув черные брови, уперся колючим взглядом Павлик в его лицо. — Ну нет! Нам Марья Петровна на уроке арифметики говорила, что такие весы показывают больше в сто раз...

— И я помню! — подтвердил Санька Лихов.

— Ну и что же еще! — Недомерыч произнес: не «ещё», а «еще». Он всегда говорил так, чтобы подчеркнуть свою образованность: почти все кедринцы это слово произносили по-деревенски — «ишшо».

— Ну и не пять, а десять! Гирька-то весит сто граммов. Гляньте!

— Ой, а ведь и верно! — выхватил гирьку из рук Павлика продавец. — Твоя правда. Я-то, олух царя небесного, в спешке заместо гирьки в пятьдесят грамм взял да эту нацепил. Вот растяпа! Это я сам, то есть... А ты, однако, не фунт изюму! — Недомерыч схватился за козырек Павликовой фуражки и надернул ее на самый нос. — Исправим, исправим. У нас это запросто! Скажи на милость, какая история вышла... Хм!.. Значится, записываю: Лихов А. — восемнадцать с половиной кило.

Позже, в ларьке, во время выдачи денег грибникам за сданные грузди Павлик подумал: «А что, если еще кое-кого из ребят, которые до Саньки грузди сдавали, Обвес вот таким же макаром обсчитал?» И он спросил продавца:

— А с другими ребятами вы случайно сегодня не

ошиблись? Так же, как с Лиховым?.. А то ведь и проверить можно.

— Это как же еще ты проверять собрался, ревизор-грамотей? — звякнул счетами Недомерыч.

— Проще простого. Сложим все веса, что вы ребятам в блокноте записали. А грузди из бочек снова перевешаем. И сличим. И видно будет.

— Да ну? Хе-хе! — засмеялся продавец. И, потирая руки, весело забалагурил: — Валяйте, валяйте! Складывайте и перевешивайте. Только прошу учесть два факта: грузди-то уже мокренькие, в воде лежат, а потом еще — в этих бочках и другие грузди были. До вас, значится, сданные! Ясно, прохвессора-ревизоры?

— Я-асно, дядя Недоме... ой, дядя Маркелыч! — подмигнула продавцу Маринка. — В другой раз мы умнее будем.

Когда, рассчитавшись последними, Санька с Павликом выходили из ларька, Обвес Недомерыч сквозь зубы процедил:

— Ну и зануда же ты, Груздилов! Не зря мачеха на тебя жалуется.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Весь конец августа лили дожди. А тут будто по заказу тридцать первого августа, к вечеру, остаток свинцовой тучи, ровно огромная овчина, свалился за темную стену кедрача. А в западной стороне неба долго-долго пылала ясная заря — предвестник ведренной погоды.

И вот первого сентября с утра ласковое солнце светит, легкие облака по синему небу плывут, ветер угомонился. Погода будто специально решила не портить лю-

дям такой торжественный день. Еще бы, у кедринских ребят сегодня двойной праздник!

...Часов около одиннадцати стайка парнишек-дошколят, сверкая босыми пятками, промчалась вдоль деревни, отчаянно горланя:

— Все-о! Приняли!

Сегодня по случаю ведренной погоды с ранней зари все в полях на уборке хлеба, поэтому у оград выглядывают все больше старики да старухи. Однако людей высыпало порядочно: не бывало еще такого в Кедринке!

— Гляди, строем идут!

— А Пашка-то, Пашка вышагивает...

Впереди, высоко держа обеими руками древко красного знамени, идет Павлик Груздилов. Справа от него — Алешка Сырцов выстукивает четко и громко на барабане палочками: — Тра-та-та! Тра-та-та!

А слева Санька Лихов. Горн в его руках так и сверкает на солнце, аж глаза слепит.

Вслед за ними попарно маршируют остальные ребята, все с красными галстуками на шее, в отглаженных брюках и юбках, в чистых рубахах и блузках — повынимали родители из сундуков праздничную одежду для такого особого случая.

Шагает отряд. Огнем полыхает алый шелк знамени. Как языки пламени трепещут пионерские галстуки. Восторгом светятся лица первых кедринских пионеров.

А с правой стороны отряда, чуть в сторонке, вожатый в очках и тоже с красным галстуком на шее.

— Раз-два! Левой! Левой! — командует он. Иногда, обогнав марширующих пионеров, поворачивается к ним лицом и начинает шагать по-чудному: спиной вперед. Однако командует уверенно: — Раз-два! Левой!..

Все жители Кедринки уже знают: это временный пионервожатый из Агуйдета. Приехал он две недели назад,

и зовут его Александром Александровичем, а у ребят кедринских он — Сан Саныч.

Смотрят на своих ребят кедринцы, дивятся: они — и не они...

— Хорошо-то как! Баско! — слышится с разных сторон.

— Куды ж они, красноперые, топают?

— На Большой лог подались, там у них праздник пионерский.

— И никакого кина не надо!

— А все одно, — громко прошепелявила бабка Варвара, — это дело нечистое. Козни антихристовы!

— Цыц ты! Замолчь! — Дед Матвей стукнул палкой в землю. — Вон наш Санька как в трубу играет! Заслушаешься! Поскрипи мне ишшо, старая калошина! Сама же согласие дала, а теперя?

Да, трудно с бабкой Варварой...

Сразу надо сказать: сдержал Павлик Груздилов слово, данное секретарю райкома партии, — двадцать девять учеников из третьего и четвертого классов записались в пионеры во время летних каникул.

Может, и больше бы их было, но возникли неожиданные препятствия — в семьях. Санька Лихов сразу Павлику так и сказал: «Ты меня вторым после себя в пионеры записывай».

Но тут уперлась бабка Варвара: «Вся ваша пионерия безбожная. Не пушшу внука». Сколько раз Павлик с ней беседовал, разъяснял, и Санька просил-умолял: «В пионеры хочу!», и Марья Петровна приходила. Подолгу они с бабкой Варварой чай пили, разговаривали. Но бабка ни в какую: «Не пушшу». И точка!

Неожиданно для всех уломать ее удалось пионервожатому. Переговоры шли при закрытых дверях, как и что — неизвестно. Павлик и Санька за углом избы притаились, но через открытое окошко слышно было: пел Сан Саныч бабке Варваре песни. Пионерские и рево-

люционные. Лучше всех у него получалась, решили они, вот эта: «Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон! Но от Москвы до Британских морей Красная Армия всех сильней!» Видать, песнями и одолел Сан Саныч бабку Варвару, вышла на крыльцо и зовет: «Санька! Не хоронись, знаю: тута вы, востроглазые. Ладно! Шут с тобой! Записывайся в свою пионерию!» А сегодня — что с ней поделаешь? — опять за свое: «Козни антихристовы...»

Но хуже всего получилось с Алешкой Сырцовым. Ведь он себя пионерским барабанщиком во сне видел, и мать его вроде бы согласилась.

— Ладно, — сказала, — видать, время такое настало: молодым без бога жить, под красными флагами ходить. Пишите Алешку в пионерию, раз ему охота.

И вдруг осечка вышла. Это еще когда Сан Саныч только из Агуйдета приехал.

Алешкина мать — одна из самых лучших работниц в колхозе, ударница. С самого основания в Кедринке артельного хозяйства ее фамилия постоянно на Красной доске. Но вот незадача: уж больно Дарья Максимовна в бога верует. А тут еще как только дала она согласие, чтобы Алешку в пионерию записали, кто-то и распустил по деревне слушок: «Сырчиха-то, слышали? За деньги, которые Пашка Груздилов с Петькой Комаровым отдали ей за убитого медведя, она свово родного сына антихристу продать собирается, в пионерию записывает».

Да еще повадились к Дарье Максимовне по вечерам старухи ходить, нашептывать:

— Это что же, Дарьюшка, у тебя в дому деется? Теперь свой безбожник будет? И так чем-то бога ты прогневала: муж твой, кормилец, молодым помер, Апрельку медведь задрал. Смотри, бабонька, кабы ишшо чего не изделалось...

— Вот что, паренек, — сказала Алешкина мать Павлику, когда тот к дружку прибежал, — передумала я.



Погодит мой Алешка с пионерией вашей. Ишшо чуток подумаю.

Не помогли ни беседы Марьи Петровны, не уговорил Дарью Максимовну и Сан Саныч...

— Погодим с пионерией. — И весь сказ.

На занятия с пионервожатым Алешка бегал тайно. А сегодня что-то будет, когда мать узнает, что среди пионеров он, Алексей, да еще и в барабанщиках!

— Та-та-та! Та-та-та! — Восторг на Алешкином лице смешался с горечью: тяжкое объяснение с матерью предстоит. Правда, обещали ему поддержку и Павлик Груздилов, и Марья Петровна, и Сан Саныч. Однако все же тяжело на душе...

Были и с другими родителями осложнения, но полегче. Надо полагать, собрание помогло.

Его провела Марья Петровна еще в конце июля.

— Вот что, Павлик, — сказала она. — Пригласи всех родителей, которые не соглашаются. Расскажем им, что это такое: советская пионерия.

...На собрание народу пришло много — полное правление колхоза набилось. Не только «несознательные» родители пожаловали, но и старики, и бабки, не говоря уж о школьниках — всем интересно!

Марья Петровна на столе разложила красное шелковое знамя, еще на древко не прикрепленное, горн, серебром отливающий, да барабан с двумя палочками.

— Все это нам прислали из райцентра для пионерского отряда, который обязательно будет в нашей школе, — сказала учительница. — Теперь разрешите и депешу огласить. — Марья Петровна развернула серую бумажку и прочитала: — «Пионервожатый прибудет Кедринку середине августа. Борис Ельнев».

— А коль не приедет? — выкликнул кто-то из последних рядов.

— Борис Петрович Ельнев, — твердо сказала Марья Петровна, — секретарь райкома комсомола. На ветер

он слов не бросает. Теперь я хочу обратиться к родителям, а у нас, к сожалению, есть такие, которые не хотят, чтобы их сын или дочь стали пионерами. — В правлении стало тихо. — Почему? — продолжала учительница. Думаю, по одной причине: не знают эти товарищи, кто такие ребята в красных галстуках. А вам известно, что значит слово — пионер? Пионер — это тот, кто первый в учебе, в работе. Первый в хороших начинаниях. Пионер не знает лени, он во всем пример для остальных ребят. Пионеры — это наша смена, наше будущее. А сколько замечательных дел на счету советской пионерии! Приведу вот только несколько примеров. В тридцатом году пионеры рапортовали Шестнадцатому съезду партии: обучен один миллион неграмотных, отправлены в село двадцать тысяч радиоприемников, послано деревенским читателям пятьсот тысяч книг. Разве не молодцы ребята в красных галстуках?

Первым захлопал в ладоши Павлик Груздилов, за ним ребята, а следом — все, кто собрался в правлении колхоза. Только в последних рядах кое-кто не аплодировал, в пол глядел... И среди них — мачеха Павлика.

— Вот и у нас в Кедринке, — закончила свое выступление Марья Петровна, — будет свой пионерский отряд. Для его создания и едет к нам из Агуйдета временный пионервожатый. Я подчеркиваю: временный! А постоянного мы вырастим здесь, из своих пионеров! — И учительница посмотрела на Павлика Груздилова.

...Временный пионервожатый приехал семнадцатого августа, под вечер, и сразу пришел в школу, познакомился с Марьей Петровной.

В деревне у новостей ноги быстрые. Тут же появился Павлик, и, не успел еще поздороваться, как приезжий сказал:

— Павлик Груздилов? Я тебя сразу узнал. По описанию. Давай знакомиться: Александр Александрович Во-

ронин. Друзья зовут Сан Санычем. Будешь моим помощником и заместителем.

По-разному отнеслись к приезду пионервожатого в Кедринке: школьники радовались, деревенская молодежь, особенно девушки, с интересом присматривались к нему. А многие выжидали: что же будет из всей этой затеи с пионерией?

Нашлись в Кедринке и такие, кого приезд вожатого серьезно обеспокоил. На улице, что застроена была в тридцатом году переселенцами, до самой полуночи не расходились досужие старухи. Умостившись на длинной кедровой скамейке, недалеко от подлогаевского дома, они тихо судачили:

— Вот погодите! Скоро окаянные красногалстучники зачнут ходить по домам и божьи иконы в отхожие места выбрасывать. Все к тому идет!

Приходила сюда и Павликова мачеха Настасья...

До самого первого сентября после приезда вожатого по утрам в школу сбегались девчонки и мальчишки, которых записали в пионеры. В огороженной штакетником школьной ограде они ходили за веселым очкастым парнем из райцентра, восторженными взглядами следили за каждым его движением, старались выполнять все его команды: то становились в строй, то рассыпались в разные стороны. Часто, уткнувшись носами в книжку, что-то негромко читали, похоже, заучивали наизусть. А то вдруг принимались так галдеть, что было слышно далеко за Таволгой.

— Подумать только! — удивлялись проходившие мимо кедринцы. Самые любопытные из них подходили поближе и, облокотившись о штакетины, подолгу наблюдали. Уходя, покачивали головами: — Ловко охаживает очкарик наших кедринских ребятишек!

Во второй половине дня будущие пионеры всем отрядом во главе с вожатым ходили за реку теребить колхозный лен.

Работавшие на уборке льна бабы, глядя на них, диву давались. Школьники появлялись за рекой много позже их. Отведенную бригадиром площадь на отдельные делянки не распределяли, а работали всей оравой. Когда же вечером бригадир замерял участки, то оказывалось, что ребятишки, если разделить общую площадь на всех поровну, успевали сделать почти по стольку же, по скольку они, бабы, за целый день.

Заработанные трудодни бригадир начислял им не на каждого в отдельности и даже вообще не на них, а на школу. Ну не чудной ли народец эта самая будущая пионерия!

...И вот настал этот долгожданный для ребят день — первое сентября.

Еще позавчера всей деревне было известно, что в первый день нового учебного года у третьеклассников и четвероклассников — только один урок. После него будет торжественный пионерский сбор, на котором двадцать девять лучших учеников примут в пионеры.

Сбор начнется в школе; потом по главной улице Кедринки пионеры пройдут строем и направятся к Большому логу, на окаймленную густым ельником поляну, где пионерский сбор продолжится.

...Долго не расходились кедринцы по домам, хотя отряда уже не было видно: спустился он в Большой лог. Только звуки горна и барабана еще некоторое время раздавались приглушенно в разбуженной тишине деревни.

На зеленой поляне Сан Саныч построил ребят квадратом. В центре квадрата уже был сложен костер — только зажженную спичку поднеси к сухой, как порох, бересте. Рядом с костром был вбит в землю высокий шест с двумя шнурами.

Сан Саныч подал знак Алешке Сырцову, который стоял в стороне с барабаном, и короткая барабанная дробь прокатилась над Большим логом.

— Отряд, смир-р-но! — скомандовал вожатый. — Флаг пионерского отряда Кедринской школы поручаю поднять Павлику Груздилову!

Павлик выбежал из строя, быстро перебирая руками, потянул белый шнур — и красное шелковое знамя взвилось по древку вверх, живым пламенем затрепетало на ветру.

— А теперь, — сказал Сан Саныч, — нам надо избрать отрядного вожатого. Какие есть предложения?

— Груздилова! — закричали со всех сторон.

— Пашку!

— Он наш первый пионер!

Быстро был выбран и актив отряда: знаменосец — Марина Махова, горнист — Санька Лихов, Алешка Сырцов барабанщик, у него и сейчас уже здорово получается, хотя и потренироваться-то по-настоящему времени не было.

— Ничего, Алеша! — подбодрил его вожатый. — Разберемся мы с твоей мамой. Ведь хорошая она женщина! Только сознание немного отсталое.

И тут вдруг Сан Саныч погрустнел.

— План работы отряда на первую четверть вы составите на своем следующем сборе, уже без меня... — Мы с Марией Петровной и Павликом наметили предварительно. Да с таким вожатым, как Груздилов, у вас все отлично будет! А теперь, дорогие друзья, — сказал Сан Саныч таинственно, — у меня для вас есть сюрприз...

Услышав незнакомое слово, пионеры замерли и как по команде воззрились на портфель, который принес с собой вожатый.

Сан Саныч осторожно достал из портфеля небольшой светло-коричневый ящичек и черные наушники, соединенные полукруглой дужкой. Ящичек поставил прямо на траву, вынул из кармана моток витой медной проволоки с изолированным концом и обратился к Лихову:

— А ну-ка, летчик, залезь на вон ту елочку! Ты ведь по этой части знаменитый мастер! И закрепи эту штуковину.

Санька с полуслова понял, что именно от него требуется. Проворно схватил конец мотка, зажал его в зубах, быстро-быстро вскарабкался на невысокую елку и ловко захлестнул конец за вершину.

— Отлично, Саня! Молодчина... Вот у нас и антенна. — Вожатый осторожно принялся вращать какую-то ручку на крышке ящичка. — Та-ак... — оглядел Сан Саныч окруживших его пионеров. — Теперь слушайте. Александр Иванович Рамичев, первый секретарь райкома партии, недавно был в Томске на совещании и... томские пионеры подарили ему для передачи сельским ребятам десять самодельных детекторных радиоприемников... Один из этих приемников Александр Иванович просил меня на первом же сборе... сегодня то есть... передать вам!

— Ура-а-а! — закричали ребята.

— Потише, потише, друзья, — вожатый поднял левую руку, продолжая правой вращать ручку на крышке ящика. Потом взял один наушник и прижал к уху. — Еще тише... Ага, есть! Ну-ка, ребята, подходите по одному.

Санька на правах помощника надел наушники первым. Ни единого звука не доносилось до пионеров из наушников, но по расплывшейся блаженной Санькиной улыбке все догадались, что он слушает настоящее радио.

— Говорит Москва! Во! — поднял Санька над головой правую руку с оттопыренным большим пальцем.

— Да ну-у?

— Все правильно, — сказал Сан Саныч. — Говорит Москва! Подходите по очереди и слушайте.

...Потом все пели у костра.

Впервые над Большим логом, поросшим густым ельником да березняком, плыла-звенела пионерская песня:

Близится эра
Светлых годов.
Клич пионера:
Всегда будь готов!

ДОМА ПОСЛЕ ПИОНЕРСКОГО СБОРА

Ни у кого из кедринских ребятишек сроду не выпадало такого памятного, такого радостного дня, как сегодня!

Под вечер временного вожатого Сан Саныча провожали по агуйдетской дороге далеко-далеко, километра за четыре. По домам расходились поздно: уже одна за одной, поскрипывая колесами, к деревне с полей начали подъезжать телеги.

Когда, оставшись втроем, Санька, Павлик и Марина поравнялись с маховским домом и Марине пора было сворачивать к своей калитке, девочка шепнула Павлику на ухо:

— Ой, как домой идти неохота!

— И мне тоже, — сказал Павлик.

Санька Лихов, прищурив левый глаз и поджав губы, хитровато оглядел обоих. Давненько уже начал догадываться Санька, с той самой поры, когда Павлик с Мариной занимались дополнительно по арифметике, что между ними происходит что-то необычное...

Павлик, если рядом была Марина, менялся на глазах: старался выглядеть взрослее, заметно серьезничал. Маринка наоборот: при Павлике становилась веселей, разговорчивей, постоянно улыбалась да пошучивала. В отсутствие же Павлика, о чем бы разговор ни заходил,

переводила его на Санькиного приятеля и не таясь радовалась, если Санька этот разговор поддерживал. Сам-то Санька никогда еще ничего подобного не испытывал, не понимал, да, признаться, и понимать-то не хотел. «Все девчонки, — угрюмо морщинил он свой широкий лоб, — плаксы, ябеды и страшенные трусихи. Стоит ли водиться с ними будущему летчику? К лешему, в болото их всех! Вот».

— Может, еще погуляем? Зачем обязательно домой? — поглаживая кончики галстука, спросил Санька.

— Да нет... Хватит, — тихо проговорил Павлик. — У меня на сегодня еще одно важное дело есть...

— По домам так по домам, — разочарованно сказала Марина и, подойдя к самой калитке, обернулась и помахала рукой:

— До свидания!

— До завтра! — Павлик долго смотрел девочке вслед. — До свидания, Марина!

Не знал, не думал Павлик, что не увидит больше своих друзей... Ни завтра, ни через неделю. Никогда...

— Фу-ты, ну-ты, дуги гнуты! — проговорила Полька, как только Павлик переступил порог в избу. — Свой пионер вылупился. Выносите святых — нечистый с рожками заявился! Тьфу!

— Дуреха же ты все-таки, Полька, — беззлобно сказал Павлик, пройдя к столу и тяжело опустившись на лавку.

— Хы! — тыкала Полька пальцем в Павликов галстук, — Рога вниз тормашками на шею себе напялил.

Не разозлился Павлик на Польку — хорошее у него настроение было, несмотря на то, что здорово устал за этот длинный и такой необычный день. Даже засмеялся:

— Отстань! Темнота ты разнесчастная! А еще пятиклассница!

По-путёвому-то Полька должна была еще позавчера

вместе с другими учениками уехать в Агуйдет. В пятом классе она там будет учиться. Но мать ее не отпустила: новые Полькины сапоги еще не готовы. Мачехин «свой человек» сапожник со дня на день обещает их сшить. «Не сегодня — завтра», — заверяет он. А Полька тем временем прохлаждается дома, от школы отстает.

— Черт-рогатик! Черт-рогатик! — мельтешит Полька у Павлика перед глазами.

— Кому говорят, кончай! — уже резко сказал Павлик. — Хватит! Где тятя с матерью?

— А я их пасла?

— Нет, все-таки?

— Все-таки, все-таки, — пробурчала Полька. — Пристал, как банный лист... В ларек ушли. Отца твоего на пихтовый завод посылают, дак что-то купить надо. Тебе что?

— Да так я...

Через некоторое время Полька примирительно сказала:

— Поди, есть хочешь? На шестке жаркó из свежей картошки — бери, ешь.

И не такая уж она, подумалось Павлику, плохая девчонка, его сводная сестра Полька. Давно уж он в этом разобрался. И сердиться в последнее время на Польку по-настоящему почти не сердится. Понимает он, чьи слова, ровно ученый попугай, повторяет она и чьей головой живет. Самой-то Польке тоже, хоть она и родная дочь Настасье, частенько бывает не мед-сахар.

— Моей бы мамке характер, как у твоего отца, — призналась она однажды Павлику, — хорошо-то как бы в доме было! Тихо.

«Характер характером, — задумывается иногда Павлик над Полькиными словами, — а все-таки здесь и другое что-то есть... Уж очень часто мачеха свое бывшее житье вспоминает, страшенно тоскует по нему. «Теперь уж, видно, больше так не пожить, — вздыхает. — Там

я настоящей хозяйкой была. Все в своих руках держала...» О теперешней жизни в колхозе так и говорит: «Завязала бы глазыньки да и убежала куда ни пóпадя...» Или почему, например, у нее изо всей деревни, кроме Подлогаевых да ларечника с женой, и приятелей больше нет?.. Да и вертучая она какая-то, мачеха. Склизкая. Точь-в-точь дождевой червяк-выползыш».

Домой отец с мачехой возвратились поздно. Кедринский ларек ни с того ни с сего закрыли на учет. Пришлось идти в соседнюю деревню. А до нее далековато — около трех километров. Сходить же надо было обязательно: Емельяна Степановича недели на три отправляют на пихтовый завод. С пустыми руками туда, в тайгу, не поедешь.

Мачеха молча прошла в куть и сразу принялась выкладывать на подоконник купленный для Емельяна Степановича запас.

Отец посмотрел на сына, который что-то писал в тетрадке, касаясь кончиками красного галстука столешницы, и поинтересовался:

— Ну, как дела, пионер?

— Да все путем, тять, — сказал Павлик, косо взглянув на мачеху.

Не так бы надо поговорить Павлику с отцом. Не выражали эти слова тех чувств, которые пережил сегодня Павлик.

Отец, видимо, уловил настроение сына, подошел к столу, сел рядом на лавку и, свертывая самокрутку, спросил:

— Что так-то? Скучноват ты вроде?

— Да нет...

— Рассказал бы, как в пионеры вас принимали. — Отец, шумно причмокивая вытянутыми губами, прикурил от лампы. — Ведь это для вас праздник. Большой праздник, слышь!

— Хм! Расскажет, как же! — Полька дернула пле-

чами, посмотрела на мать и, прыснув, добавила: — В начальники затесался. Вожатым его выбрали. Станет он теперь с нами разговаривать. Держи карман шире!

Емельян Степанович перевел вопросительный взгляд с Павлика на Польку, глубоко затянулся самосадным дымом, спросил с удивлением:

— Ты что это, Полина? А?

Полька снова посмотрела на мать и, поняв, что та одобряет ее поведение, усмехнулась.

— Ты, слышь, с чего эт-то? — нахмурившись, проговорил отец. И вдруг звонко хлопнул ладонью по столешнице: — Ты это брось, слышь!

— Что значит: брось? — сердито вмешалась Настасья. До этого времени она помалкивала, будто и не было ее в избе. — Уж ничо девчонке и сказать нельзя.

— Брось — и баста! — Отец вдруг сильно ударил кулаком по столу. — И ты тоже. Бросьте обое!

Мачеха в сердцах шлепнула на лавку тряпку-отымалку, которой протирала отцов котелок, готовя его в дорогу, резко выпрямилась, подошла к столу. До узеньких-узеньких — не разглядишь — щелочек сощурила сверлящие глаза и ткнула в бока мокрые кулаки:

— Нет уж, дудки! Будет! Добросались. Одно, видать, остается нам с Полькой: шмутки в охапку, да-и обратно в Лосевку.

— Ну-у... Засобирала... — махнул рукой отец.

— Кака это, к лешему, жизнь? — распалялась Настасья. — В своей избе ни на что бы не глядела. И на люди хоть глаз не кажи — стыдище!

Мачеху прорвало.

За последнее, без скандалов, время, видать, много зла накопила она на пасынка. И сегодня, сейчас, все, что в глубине души таила, выплеснула — не удержала — на Павлика. Словно из поганой шайки окатила. Что было и чего не было, собрала в одну кучу.

И кринку молока, что весной, под пасху, достал Пав-

лик из подпола... И «добрых людей» Подлогаевых (фамилию их, правда, назвать не осмелилась), которые из-за него пострадали... И деньги, полученные за медведя и ни за что ни про что «голодранке Сырчихе» отданные... «А в район кто таскался? Из-за кого теперь в деревне окаянная пионерия объявилась? Скоро, старухи намедни говорили, до того дойдет, что красногалстучники зачнут ходить по домам и лики божьи, иконы, в отхожие места бросать станут»... А под «хорошего человека» ларечника Маркелыча кто подкоп ведет? То сперва его племянника под штраф подставил, а теперь и про него самого наклепал. Неспроста же в ларек внезапная ревизия нагрянула! «Человек неделю назад дорогу́, породисту телку купил. Может, и взял сколь деньжонок из ларька на время... Вернул бы через неделю-другу. Дак нет же. Он, варначина, накапал!»

Тут Павлик не выдержал:

— Никому ничего не говорил про ларечника. Не знаю я его дела! А что руки у него загребущие — вся деревня говорит.

— Вот-вот! Слыхал? — Настасья ткнула мужа в плечо. — Он не знал, варначина!.. А как племянника продавцова под штраф подставить, он знал...

Племяннику Недомерыча действительно с месяц назад пришлось заплатить штраф. И Павлик Груздилов к этому имеет прямое отношение.

В начале августа, в одну из суббот, из Агуйдета в гости к продавцу заявились двое — Маркелычев племянник со своим приятелем. Прибыли с ружьями и собаками.

— Завтра, должно, станут на Медвежьем озере в уток палить! — высказали предположение Сенька-Фенечка.

В воскресенье утром на Медвежьем озере оказалось две компании. Одна браконьерская — племянник Недомерыча с приятелем. Другая — Петька Комаров, Санька Лихов, Сенька-Фенечка и Павлик Груздилов.

Браконьеры, пустив берегом с дальнего конца озера собак, сами плыли по кромке камышей в обласке — один с веслом на корме, другой с двустволкой на носу обласа. Вспугиваемые собаками, из зарослей камыша на чистое место горохом высыпали не тревоженные еще стайки уток, и браконьеры преспокойненько постреливали их мелкой дробью.

Когда на ближнем конце озера они, довольнешенькие, вылезли на берег, их встретили пятеро кедринских мальчишек.

Кончилось тем, что пятьдесят восемь уток-крякашей браконьерам пришлось бесплатно сдать заготовителю «Сибпушнины» (он отвез их для больных в Агуйдетскую райбольницу), да еще и штраф с них, какой положено, потом взяли как с миленьких...

— От этой внезапной ревизии человек сам не свой сделался. Ровно мука белый стал. А все из-за кого? — стояла на своем Настасья.

— Ну, ревизия. А Павел-то здесь при чем? — наконец перебил Настасью Емельян Степанович.

— Как эт-то при чем? — почти не раскрывая рта, прошипела Настасья. — Кому же еще? Из-за груздей варнак съябедничал!

— Не говорил я про грузди. Никому, — спокойно возразил Павлик. — А еще раз замечу, что жульничает, скажу! Так ему и передайте. Нечего маленьких обманывать!

— Ну, не срамота ли, а, Емельян? — дергала мачеха за рукав отцовской рубахи. — А?

— Никакого сраму здесь, слышь, нету. — Отец отстранил руку мачехи. — Прав он, Павел-то! В деревне о том же говорят. На глазах обирает людей ларечник. Ребятишки вон Обвесом Недомерычем его прозвали. Да и породистую телку, должно, на казенные денежки купил...

Отец подошел к окну.

— А вон и Маркелиха, легка на помине. Видать, к нам направляется...

В избу без стука вошла жена ларечника в плисовой жакетке.

Не отходя от порога, она поздоровалась и торопливо обратилась к Настасье:

— Я к тебе, Марковна. Выйдем на маленечко в ограду.

«Должно, за деньгами пришла — вложить думают, обман-растрату замазать», — сообразил Емельян Степанович, когда Настасья с продавцовой женой вышли.

С уходом мачехи в избе сделалось так тихо, что всем показалось, будто этакой тишины в их доме еще никогда не бывало. Даже Польке, чувствовалось, осточертел сегодняшний скандал.

— А ведь мне пора собираться! — спохватился отец. — За мной скоро должны заехать.

— Куда это, тять? А? — спросил Павлик.

— Вишь ли, какая история, — сказал Емельян Степанович, начиная укладывать большую котомку с опоясочными лямками. — У Николки Сырцова, что на пихтовом заводе работал, должно, аппендицит приключился. Утром сегодня в Агуйдетскую больницу увезли. Вместо него на завод-то временно меня назначили. Такое, вишь ты, дело.

— А на ночь-то глядя с чего?

— Подвода, паря, что Николку в больницу отвезла, сегодня же в ночь обратно на завод. Так меня и захватит...

— Ясно, тять, — понимающе проговорил Павлик. — Раз так надо, значит, надо. Я тебя провожу до моста.

В избу, громко хлопнув дверью, возвратилась мачеха. Глаза ее по-прежнему сощурены, тонкие губы поджаты. По-кошачьи бесшумно подошла к столу, велев Польке, чтоб та отодвинулась, вскочила на лавку, пошарила на божничке за иконами — вытащила завя-

занную узлом тряпицу. Прав оказался Емельян Степанович: за деньгами пожаловала жена Обвеса Недомерыча.

— Ездовой, который на пихтовый едет, кричал, чтоб минут через пятнадцать ждали его, — буркнула Настасья, не глядя на Емельяна Степановича, и той же кошачьей походкой удалилась из избы.

— Вроде-ка все. — Отец сборил верх котомки и затянул его петлей, сделанной из опоясочных лямок. — Не забыть бы только чего. Что-то на душе муторно...

— Да ладно, тять! — участливо проговорил Павлик. — Ты не расстраивайся. Помаленьку все обойдется.

— Шибко уж муторно на душе, — повторил Емельян Степанович, присев на лавку.

Тяжелым туманом клубилась, плыла в его голове одна мысль-дума: «Что же делать дальше? Как дальше жить-то?.. Поедом ест парня Настасья. Все равно что голодная щука лютует... Не видно вины Павликовой никакой и ни в чем. Родная-то мать-покойница не нарадовалась бы, теперь на него глядючи. А эта... вишь, что делает! Неужели только одно остается, — стучит в висках у Емельяна Степановича, — врозь? Хм... Да ведь и это тоже не мед: без хозяйки — дом сирота...»

— Ну, пора! — Опять появляется в избе мачеха. — Ездовой уже за воротами поджидает. Айда, Емельян.

Емельян Степанович по виду жены замечает, что она после улицы переменилась, вроде бы поостыла. Голос ее сделался мягче, заметно потеплел. Или, может, это только ему почудилось? Он вгляделся пристальнее. Нет, не почудилось: и в лице у нее заметил перемену. Оно стало приветливей, будто даже посветлело.

«Дай-то бог! — облегченно подумалось отцу. — А то хоть не уезжай из дому».

— Ну-ну, пошевеливайся, — спокойно поторапливала Настасья. — Человек-то ждет. Пошли.

Емельян Степанович повеселел: кажется, все потихо-



нечку обошлось-обмялось. Легко набросил на плечи котомку, пошел к двери.

— А ты куда? — вскинулась мачеха, увидев, что Павлик тоже засобирался.

— Проводить меня хотел до моста, — сказал отец.

— Сиди уж. Одна провожу, — остановила Павлика Настасья. — Ложись спать. Ложитесь спать обое. За день-то, поди, намотались.

— А и правда, сынок, — согласился отец. — Дальние проводы, слышь, лишние слезы, как говорится. Ну, до свидания!

— До свидания, тять. Счастливо!

Отец, а вслед за ним и мачеха вышли.

— Хи-хи, мамка! — захихикала Полька, когда примерно через полчаса Настасья возвратилась. — Знаешь, что?

— Че ишшо?

— Этот-то опять отчебучивает! — кивнула она в сторону Павлика.

— Черт мне с ним! — махнула рукой мачеха. — Прости ты меня, господи, душу грешную. Не хошь, да согрешишь на ночь.

Павлик сидел на своем обычном месте за столом и, пододвинув лампу поближе, старательно что-то писал в тетради.

— Сроду не выдумаешь! Ха-ха, — опять засмеялась Полька, — он в Москву письмо строчит. Ажно самому Калинину!

Мачеха, точно кто ее толкнул, рванулась было к столу, но Полька ее остановила:

— Да шут с ним, пусть строчит! Жалко, что ли? Только и делов у Калинина, чтобы его каракули читать. Как же!

— И то правда! — махнула рукой Настасья. — Ложись дрыхнуть! Неча зря керосин жечь. Ложись и ты,

Полька. Завтра госпоставку повезут, дак я договорилась, чтобы и тебя в Агуйдет прихватили. Сапоги-то мерила? Впору?

— В самый раз, — ответила Полька, укладываясь в постланную на полу постель.

«Дорогой дедушка Михаил Иванович! — беззвучно шевеля губами, перечитывал Павлик написанное. — Пишет тебе из далекой сибирской деревни Кедринки ученик четвертого класса Груздилов Павел. У меня сегодня самый радостный день в жизни. Меня приняли в пионеры. Обещаю тебе хорошо учиться. И крепко бороться за дело Ленина, чтобы поскорее наступил коммунизм. А то у нас в деревне еще есть люди...»

— Спать! Сколь раз говорить? — Мачеха дунула и загасила лампу.

Взобравшись в темноте на полати и укрываясь старым байковым одеялом, Павлик спокойно, нарочито медленно проговорил:

— А сапоги-то Полькины я утром отнесу к участковому Глазырину. Из подлогаевской лосиной кожи они.

— Че-о-о?! — резанул темноту дикий визг Настасьи.

— Что слышали. Надо жить честно! А Полька пусть мои новые сапоги забирает. Мне тятька старые осоюзит — я и обойдусь... Так и знайте — завтра утром отнесу! А заодно и про компасы дознаюсь, которые весной кто-то в школе из учительской украл. Как это они сегодня в моей школьной сумке вдруг объявились? Дознаюсь! — Проговорив это, Павлик приготовился выслушать поток отменнейшей мачехиной брани.

Но случилось удивительное:

— Это мы ишшо пос-смотрим! — зло прошептала Настасья. И затихла, больше не сказала ни слова.

Скоро Павлик заснул. Длинный-длинный и полный разными событиями выдался сегодня день! Сроду такого не бывало.

А потом ему приснился удивительный сон...

ПОИСКИ

Недолго проработал на пихтовом заводе Емельян Степанович.

Под вечер третьего дня, выезжая из тайги с волокушей пихтового лапника, он заприметил у самого завода какого-то парнишку. Тот, заложив руки за спину и поднявшись на цыпочки, глядел поверх тесовой крыши завода: то ли следил за причудливой игрой дыма, то ли наблюдал за медленно плывущими по чистому небу облаками.

Заслышав шум подъезжавшей волокуши, парнишка обернулся и со всех ног бросился навстречу Емельяну Степановичу. Это был «летчик» Санька Лихов, Павликов неразлучный друг-приятель.

— Дядь Емельян! — издали закричал Санька. — А я за тобой пришел... — Голос парнишки дрогнул.

Оборвалось что-то в груди у Емельяна Степановича. В глазах вдруг потемнело, будто со свету в черную ямину ухнул. И в клубящейся темноте закачались, поплыли и молоденькие пихты, и тесовая крыша завода, и знакомая фигурка Саньки Лихова. Вожжи выпали из его расслабленных рук и, задирая мелкий кустарник, змеей поползли рядом с волокушей. Старый Воронко, почуяв близость конюшни, бойчее затопал копытами.

— Тпру ты, старикан ушлый! — остановил Санька Воронка, когда волокуша поравнялась с кучей пихтового лапника. — Тпру же!

— Ты это, Сань, почто здеся? — не своим голосом спросил Емельян Степанович.

Санька цепко схватился за правую вожжину и, натянув ее так, что голова Воронка завернулась назад, петлей захлестнул за конец оглобли.

— Теперь уйти спробуй, привернутый-то!

— А, Сань?

Убедившись, что Воронко будет теперь стоять на месте, Санька обошел его спереди и приблизился к Емельяну Степановичу:

— Ты шибко-то не пугайся, дядя Емельян. Все еще обойдется. Должно!

— Ты... про... про что эт-то, парень?

— Да вот — Санька достал из-за пазухи замызганный, сложенный вчетверо тетрадный листок. И, протягивая его Павликову отцу, еще раз попросил: — Только ты, дядя Емельян, не расстраивайся шибко-то!

«Срочно прошу Вас... — медленно плыли как в тумане фиолетовые буквы, — ...придти в деревню... С Павликом что-то неладное... Два дня не был дома. Не появлялся и в школе... М. П. Глазырина».

— Меня за вами участковый с председателем послали, — теребил Санька за рукав Емельяна Степановича. — Слышишь, дядя Емельян? А?

В Кедринку Павликов отец с Санькой возвратились часам к шести утра. Всю ночь шагали сквозь холодную глухую темноту, изредка делая непродолжительные остановки. Около тридцати километров от пихтового завода до деревни. И все тайгой да тайгой петляет дорога.

Не помня себя, вошел Емельян Степанович в родную избу — бил его мелкий озноб, унять который было невозможно.

Настасья, как обычно в эту утреннюю пору, хлопотала у печки. Жарко горящие дрова заливали ее лицо ярким кровянистым светом.

«Тоже, видать, горюет, — подумал Емельян. — Ишь, как лицо-то осунулось. С кулачок стало».

— Нá тебе! Пихтозаводчик заявился, наработался уж!.. — всплеснула руками Настасья (Емельян Степано-

вич и поздороваться-то не успел). — И кто его знат, куда нечистая сила унесла сыночка твово! Прости ты, господи, мою душу грешную... Третьеводнишним утром вскочил ни свет ни заря. И сразу за твое ружье. «Не трожь», — говорю... Да разве с ним, с оглашенным, сладишь? Надел патронташ и смотался.

— Куда идти-то собирался, хоть сказывал? — Емельян не раздеваясь, присел на лавку. Посмотрел на темную стену у порога: ни двустволки, ни патронташа на обычном месте не висело.

— Буркнул что-то. — Настасья нагнулась к печи, вытаскивая ухватом из печи чугун с картошкой, — а я толком не разобрала. Должно, уток пострелять ему захотелось... Не знаю, не знаю. Греха на душу брать не буду.

— Патронташ-то зачем взял? — спросил ни с того ни с сего Емельян. Понимал, что не дело говорит: какое это имеет значение — взял Павлик его патронташ или не взял... Отлично понимал, а спросил. И даже добавил: — Прежде-то никогда не брал. Велик он ему, патронташ-то.

Настасья поставила ухват к печному шестку, потыкала пальцем в пригоревшую сверху картошку и, втянув шею в плечи, развела руками:

— Чужа душа — потемки. Уж так ему, должно, взблагостилось.

— А Полины-то не видать что-то? Или уже в Агуйдете? — снова спросил Емельян, чувствуя, как дремучая, тяжкая тоска наполняет все его тело.

— Тама. Третьеводни, в энтот же день, отправила ее.

— Сапоги-то сшили? — безразлично спросил Емельян.

— Сшили. А то как? Не без сапог же я ее на люди послала!

Войдя в квартиру Глазыриных, Емельян Степанович спросил с порога:

— Ну, что, Иван Иванович?

— Все места поблизости, где предположительно ваш сын мог бы охотиться на уток, мы осмотрели. И никаких следов, — развел руками участковый.

— Очень странный случай! — проговорила Марья Петровна. — Прямо не знаешь, что и подумать...

Емельян Степанович, словно разговор касался не его, угрюмо молчал, медленно переводя взгляд с учительницы на ее мужа.

— Я сейчас еду в райцентр. — Участковый снял с вешалки шинель. — После обеда с оперативной группой будем здесь. Посмотрим... Подумаем... Жаль, что у нас в райотделе нет хорошей поисковой собаки! Хотя, правда, и времени-то уже прошло многовато...

— А не подался ли он, Павел-то, на глухариный вылет? — тихо, будто самого себя, спросил Емельян Степанович. — Вы, Иван Иваныч, в энтих-то местах, за Притоком, не были?

— Нет, там не были... Мы пока его искали неподалеку от деревни.

Об исчезновении Павлика узнали второго сентября, на другой день после пионерского сбора. К началу занятий второй смены он в школу не явился. После первого же урока встревоженная Марья Петровна послала домой к Груздиловым Саньку Лихова.

На вопрос запыхавшегося Саньки: «А где Павлик?» — Настасья пожала плечами и недовольно сказала, что она и сама толком ничего знать не знает. Чуть свет утром встал, схватил отцовскую двустволку с патронташем. И подался. А куда — не сказал.

— Не шибко он мне докладывается. Должно, уток стрелять надумал...

— Хм? — почесал затылок Санька. — Вчера вечером у нас разговору про уток и в помине не было.

— Не знаю, не ведаю! — развела руками мачеха. — А че же, в школе-то его тоже нету?

Санька недоуменно вскинул белесые брови: вот чудная, будь бы Павлик в школе, кто бы прибежал про него узнавать.

— Да что это я в самом деле! — суетливо поправилась Настасья. — С ружьем ведь ушел-то. Домой не заходил. Да и сумка его — вот она.

Настасья проворно вскочила на лавку и достала с полатей Павликову школьную сумку. Расстегнув пуговицы, раскрыла ее.

— Ой, Саня, а это у него че такое? — вроде бы удивленно спросила она. — Глянькося!

— Это... тетка Настасья... компасы, — медленно, с расстановкой проговорил Санька. — Весной которые в школе... пропали.

— На-а-адо же!

— Только как они в Павликовой сумке очутились? Хм? — прищурившись, наморщинил лоб Санька.

— Должно, сбаловал, варначина! Он и по дому...

— Ну, уж это дудочки! — оборвал Санька Настасью, торопливо рассовал компасы по карманам и резко хлопнул дверью...

В течение двух дней Павлика искали недалеко от деревни. Все осмотрели тщательно. Ощупали каждый подозрительный кустик. Каждый глубокий заливчик Таволги обшарили шестами. Ни следа, ни намека.

— ...А почему, Емельян Степанович, вы вдруг о глухарином вылете вспомнили? Далеко ведь, да и рановато еще? — спросил участковый.

— Да говорил он как-то, Павел-то, — вздохнул Павликов отец. — Сколько раз говорил, что ему на глухариный вылет попасть охота.

Глухариным вылетом в Кедринке называют вот что. Поздней осенью на песчаный косогор, что тянется километрах в пяти от деревни по берегу Притока, в предрассветные сумерки вылетают из низин тайги глухари. Вылетят, рассядутся на макушках кедров, расту-

щих по кромке косогора. С четверть часа сидят, озираются, поворачивая головами на точеных шеях. Высматривают: нет ли поблизости какой опасности. Потом, если все спокойно и тихо, опускаются, распластав крылья, на бугристые прогалины косогора, усеянные камешками. Спустятся и начнут расхаживать по песку, выискивая и склевывая камешки. Охотники уверяют, что галька эта способствует перетиранию пищи в глухариных зобах. Вот в это-то самое время, если заранее хорошо замаскироваться и сидеть тихо, подстрелить глухаря проще простого...

— Может быть... — задумчиво проговорил Глазырин. — Решил сходить на глухариный вылет? Только ведь сколько воды утекло с тех пор.

— А вдруг, слышь, заблудился парень? А? Там ведь урманище!

— Вполне возможно! — с надеждой подхватила Марья Петровна.

— А? Иван Иваныч! — засуетился, собираясь немедленно уходить, Емельян Степанович. — Заблудиться там как пить дать просто! Надо скорее туда. Я это дело мигом! Поискать хорошенько. Покричать. Раз-другой стрельнуть пошибче!..

Усиленные поиски — человек около тридцати в них участвовало вместе с тремя милиционерами из Агуйдета — ничего не прояснили. За два дня там, за Притоком, на многие километры вокруг песчаного косогора вдоль и поперек все поисходили-облазили. Напрасно.

Грохот ружейных залпов, отрывисто рявкнув, переламывался в непроглядных макушках сосен и кедров и, замирая, тонул где-то совсем рядом. А в ответ все тот же нескончаемый шум тайги, зловещий и жуткий.

...Обессилел, вконец измотался за эти дни Емельян Степанович Груздилов. Свалился. В полубреду, в страшенном жару разметал свое исхудавшее тело под лоскутным одеялом.

Сегодня Павлика без отца ищут.

— Настась, — еле слышно сухими, потрескавшимися губами просит он жену.

— Че ишшо?

— Дала бы какую-нибудь лопоти́ну. Под голову повыше подложить... Тошнота к горлу подступает...

— Кончал бы уж убиваться-то! — легко-просто советует Настасья. Она влезает на полати, где на старых одежинах постоянно спал Павлик. — Ему-то теперь, как говорится, не поможешь, а себя так-то и извести можно.

Никак не поймет Емельян Степанович Настасью. Что у нее на душе? То ему кажется, что она тоже горюет-печалится по Павлику... Делает что-нибудь, проворно шевелит руками и вдруг — замрет... Задумается. Потирает ладонью лоб. Взад-вперед, опустив голову, по избе пройдется. То у окошка, что на огород выходит, стоит и долго о чем-то думает. А то вдруг возьмет и такое скажет: «Ему-то теперь не поможешь...»

— На, положи, — говорит Настасья, протягивая Емельяну свернутую в скатку одежину. — На, что ли!

Успевший, пока она лазила на полати, забыться, Емельян Степанович медленно открывает глаза и непонимающе, ворочая зрачками, оглядывает жену.

— Бери лопотину-то.

Емельян Степанович протягивает исхудалую руку, ослабевшими пальцами пытается взять у Настасьи принесенную одежду и вдруг вздрагивает:

— Это что?

— Лопотина, фуфайка евойная.

Емельянова рука плетью свисает с кровати. Задыхаясь, он начинает всхлипывать:

— Как же он, слышь, без фуфайки-то?.. В то утро страшенный иней ложился. Собачий холодина был!.. Да и теперь... как же это он?..

Медленно тянется время в тяжелые минуты болезни, а все равно идет оно своим раз навсегда заведенным порядком. Монотонно, с нудным поскрипыванием мотается взад-вперед почерневший маятник стареньких ходиков. Вроде бы совсем незаметно, а ползут, продвигаются по засиженному мухами циферблату облупившиеся стрелки.

Уже семь часов вечера.

С час назад забегал проведать Емельяна Степановича расстроенный Санька Лихов. Съежившись, не отходя от порога, уныло говорил, что пока еще ничего не прояснилось. Но Санька уверен, что не позже как завтра обязательно найдут Павлика... И непременно живого! Не такой он парень, Санькин друг, чтобы насовсем потеряться... Да и районная милиция еще не уезжает. А эти люди знают, что делают. Зря не остались бы!

Идет, тащится время. Подвигаются, ползут потихонечку стрелки. Со скрипом тикает, отсчитывая секунды, маятник...

Совсем уж темно в избе стало.

— Зажгла бы лампу, — тихо просит Емельян.

— В иголку, что ли, вдевать собрался? — Ей в кути светло от печки: поросятам варит мелкую картошку

— Тяжело, слышь... Шибко муторно на душе.

Настасья не торопясь вытирает о фартук руки, сняв закопченное стекло, достает с полки пятилинейную керосиновую лампу и, держа ее в левой руке, правой прижигает от тоненькой лучинки черный, обгоревший кончик фитиля.

В эту самую минуту кто-то громко протопал по крыльцу и два раза глухо стукнул в дверь.

— Кто там? — вышла из-за печки Настасья. — А?

Дверь медленно, с противным скрипом раскрылась, и в черном ее проеме появилась голенастая фигура Петьки Комарова, едва высвеченная огнем лампы.

Петька Комаров, узнав в Агуйдете об исчезновении

Павлика, отпросился у директора школы. Решил принять участие в поисках друга.

Сегодня Петька вместе со всеми за Приток не ходил. По совету пастуха Макара искал Павлика на задах кедринских огородов.

— Что ты? — вздрогнув, крикнула Настасья. — Напужал, леший, до смерти!

Петька, не переступая порога, столбушком прислонился к дверному косяку, закрыл рукавом глаза и навзрыд заплакал:

— Нашел я... Павлика... Не находить бы лучше!

— Мели больше! — Мачеха ухватилась за печную приступку. — Пустобрех чертов!

— В старой силосной... яме... — сквозь рыдания прошептал Петька. — За вашим ог-городом... Ласка нашла... Мертвый он...

Сбросив с себя одеяло и хватаясь ослабшими руками за высокий козырек кровати, исхудавший и разлохмаченный, Емельян Степанович вскочил и начал медленно опускаться на пол. В одном нижнем белье, освещенный кроваво-красным пламенем коптящей лампы, страшен он был в эту минуту.

— Что ты, па-а-арень?! — крикнул он, заслоняясь рукой от Петьки. Откуда и силы взялись так крикнуть?

— Убил его кто-то... Вся голова изрублена-а...

Пятилинейная лампа выпала из Настасьиных рук и, звякнув об пол, погасла. В избе смрадно запахло керосином.

А БЫЛО ЭТО ТАК

Вторая половина ноября...

Над тысячеверстной сибирской тайгой сурово власт-

вует зима: то с диким посвистом налетают и по целым неделям буйствуют бураны, то тихо, незаметно подкрадываются крепкие морозы.

По календарю зима здесь, как и в иных местах, должна бы начинаться первого декабря. Ученые-астрономы считают ее началом двадцать второе декабря, когда бывает самый короткий день и самая длинная ночь.

На самом же деле в здешних местах зима нынче наступила давным-давно: в конце октября выпал обильный снег, да так с той поры ни разу и не подтаял. Уже с неделю стоят такие морозы, каких не могут припомнить самые древние старожилы. Круглыми сутками над Агуйдетом тихо колышется непроглядное марево тумана, смешанного с клубами дыма, вертикально вздымающегося из труб. Едва-едва сквозь густую белесую муть просматривается желтое пятно немощного солнца. В немом оцепенении застыли запушенные куржаком деревья.

А в просторном зрительном зале Агуйдетского клуба до духоты жарко. Зал битком набит народом. Почти половина из присутствующих — кедринские.

Идет суд над Настасьей Уткиной.

Весть о том, что Павлик Груздилов найден мертвым, в какие-нибудь пять-десять минут успела облететь всю деревню. Несмотря на сгустившуюся темноту, у груздиловской избы собралось все население Кедринки. Школьники прибежали первыми.

Был здесь и Колька Суханов. Только вел он себя по-чудному. Все шнырял среди собравшихся и спрашивал: «Марьи Петровны тута нет?», «Вы не видели Марью Петровну?»... «Да где же это Марья Петровна?»...

Когда учительница появилась, Колька бросился ей навстречу и, не боясь окружающих, громко признался:

— Скотина я, Марья Петровна! Что хотите, то со мной теперь и делайте. Вот... Это ведь я весной из учи-

тельской компасы-то украл! Филька Подлогаев меня подбил на это. Ему я и отдал их. От него уже они попали к Павликовой мачехе. Она, гадина, вишь, что подстроила — в Павликову сумку их подсунула. Даже мертвому хотела напакостить!.. А он, Павлик-то, настоящим человеком был. Честным и... — Запрыгали плечи у Кольки — не смог сдержать слез.

Арестовали мачеху после того, как из Агуйдета прискакал нарочный. Полька в тот же день с утра сама пришла в районный отдел милиции и заявила:

— Не ищите вы Павлика Груздилова живого... Его моя мамка... убила... Ой, не могу я больше так жить!..

— Уткина Настасья Марковна, — глядя сквозь круглые очки в лежащие перед ним бумаги, ровным голосом произносит судья: — Вы обвиняетесь в убийстве вашего неродного сына Павла Емельяновича Груздилова. Признаете ли вы себя виновной?

Зал притаился, ждет. Триста человек не спускают взгляда со скамьи подсудимых. Настасья Уткина встает. Знавшие ее кедринцы не замечают в ней особых перемен: те же прищуренные с быстро бегающими зрачками глаза. Те же синюшные губы, стиснутые в тонкую нитку.

Ждет зал, замер...

— Знамо, признаю, — глядя поверх голов присутствующих, стараясь быть равнодушной, произносит Настасья. — Чего ж еще-то?

— У-у, вражина! — перекрыл всплеск тяжелых вздохов чей-то крик.

Немного помедлив, судья так же, как и начал, монотонно продолжает:

— Расскажите, как это произошло.

— Сто раз говорила. Да и записано у вас все.

— Расскажите суду!

А было это так.

Вечером первого сентября уезжавшего на пихтовый завод Емельяна Степановича Настасья далеко провожать не стала. Решила забежать к Подлогаевым. Аксинья вчера была в Агуйдете — надо узнать, какие новости привезла она о Никите с Василием. Новости, как и следовало ожидать, оказались нерадостными. «Крепко засудят их, кума, — плакала Аксинья. — Василию-то из-за молотилки и того шибче достанется... Худые сделались обое, что твои шкилеты... А Василий, кума, на тебя в обиде. Гаденыш-то, говорит, в деревне силу забрал, а она, ты, то исть, и пальцем, говорит, шевельнуть боится... Ни во веки веков я ей этого не прощу, говорит...»

Словно кипятком плеснулись в лицо Настасьи эти Васильевы слова.

Пока шла домой, почти обо всей своей жизни успела передумать. И представилась ей эта жизнь вроде долгой-долгой полосы, размежеванной на две половины — светлую, залитую солнцем, и непроглядно темную, почти черную.

Светлая половина — до высылки... Огромный крестовый дом — полная чаша. И она, Настасья Уткина, в нем — хозяйка! Да какая еще хозяйка-то! Попробуй, бывало, кто из батраков слово поперек вякни. Живо получит по шее. Вроде бы и не в теле была Настасья, а рука тяжелая. До сих пор не может без ухмылки вспоминать, как на покосе девчонке Текуске, что тогда у них в прислужках жила, полведерный котел горячей щербы на голову опрокинула. Пересолила Текуска щербу. И — получай! Пегим после этого сделалось лицо у девчонки. А ведь сошло это Настасье. Потому что откупились: телку бесштанным родителям Текуски отвалили. Подумаешь — телку! Богатейшее хозяйство во всей округе держали Уткины. И казалось в ту пору Настасье: точно гранит-камень, твердо и нерушимо все — и крестовый дом под железной крышей, и заведенные отцами-деда-

ми порядки, и весь мир вокруг. А он возьми да и перевернись, этот мир, верхним концом вниз к чертям собачьим. Возьми да и рухни потом все до основания...

Темная половина — теперешнее житье. Особенно в последнее время. При нынешних порядках шибко-то не размахаешься. Затеяли, вишь, чтобы ровно все жили. Для человека с умом да с силой поскотин понагородили: этого не трожь, того не смей делать. Все, мол, теперь общественное. Оттого-то всякая мелюзга-шелупонь в силу и входит...

И Настасья, словно после широкой гладкой дороги — да дышлом в столб, уперлась мыслями в одного человека, первейшего своего врага кровного — Павлика. «Сколь пакостей накорежил, варначина! Жуть!»

И тупая, постоянно щемящая злоба на ненавистного пасынка начала продираться откуда-то из глубины сознания, принялась царапаться, гулко стучать в висках.

В который уж раз будто наяву слышится Настасье Васильев голос. Когда братьев Подлогаевых под конвоем увозили в Агуйдет, Василий сумел выкроить минутку, шепнул: «Сквитайся с ним, сеструха, за нас. Тебе просто: в одном гайне живешь со змеенышем. Топорик наш охотницкий у Аксиньи возьми».

Взяла Настасья тот подлогаевский топорик. Маленький-маленький, а для руки страсть как удобен. И увесист: лезвие и топорище сплошь из железа. Давненько уж он, замотанный в мешковину, на завалинке в подполе лежит-полеживает.

Не грех пугает ее покуситься на это дело. Говорят же старики: «Змею убить — господь сорок грехов простит».

«А ну как раскроют-пронюхают? — столбенеет Настасья от этого вопроса. — Тогда ведь одна путь-дорожка — свиданье на том свете с покойничком Митрофаном». Страшно ей. Однако и делать все-таки что-то

надо. «Опять вон Маркелычу, варнак, напакостил... Уж и мешкать-то вроде бы нельзя. Того гляди еще чего отчубучит, варначина. Только сделать бы все по уму, с божьей помощью...»

С этими думами и в избу вернулась.

...— Сроду не выдумаешь! Ха-ха! — засмеялась Полька, едва Настасья переступила порог. — Он в Москву письмо строчит. Ажно самому Калинину!

Настасья, точно кто толкнул ее, рванулась было к столу. Но сумела-таки сдержаться — остановилась. Полька успокоила. Только лампу задула да крикнула: «Спать! Сколь раз говорить?»

Что в те минуты думала, сейчас Настасья в точности вспомнить не может. Теперь помнит и знает лишь одно. Когда Павлик заявил, что завтра утром он Полькины сапоги отнесет к участковому, да еще и про компасы дознается («А ведь дознайся он про эти пять компасов, крестничка-то Фильку из Агуйдетской школы мигом выключат!»), Настасьино сердце гулко ухнуло, и в голове этот гул отозвался единой мыслью: «Убить. Сегодня же! И все. Гора с плеч».

В холодную постель под лоскутное одеяло Настасья шмыгнула в платье, не стала раздеваться. Долго лежала на спине с открытыми глазами, норовя прошить взглядом неразличимые в темноте доски полатей. Хищно вслушивалась: «Удрыхся или нет еще?»

С полчаса подождала.

«Теперь, должно, время... Полька давно спит. Эвон как нахрапывает!»

Сдвинув к стене одеяло, неслышно опустила ноги на пол. Встала. Тихо-тихо, будто с места не сходила, слазила в подпол за подлогаевским охотничьим топором. Лаз в подпол закрывать не стала: «Неча зря бухать, да и понадобится ишшо».

Распеленав топор, вцепилась в железную рукоять.

Вздрогнула: резким холодом жиганул металл теплую ладонь. Но будто и силы прибавил.

Встав на печную приступку, затаив дыхание и вытянув шею, прислушалась. С полатей доносилось тихое дыхание. В висках у нее кровь стучала и то много громче.

«Удрыхся... Хоть из пушки, поди, пали».

Уже меньше опасаясь шумнуть, сходила к столу, сняла с лампы стекло и зажгла горелку. Фитиль увернула так, чтобы едва-едва трепыхался синеватый огонек.

«Ну, господи, благослови! — перекрестилась на иконы, черневшие в темном красном углу. — Пронеси, царица небесная!»

Прикрывая огонек ладонью, поставила лампу на печь. Снова встала на приступку. Повременила. Пригляделась к темноте на полатях.

«Ну-ну, спи не просыпайся, варначина! — подумала со злорадством. — Сейчас, бог даст, насовсем заснешь».

И, навалившись грудью на кромку полатей, медленно, еле слышно, по-удавьи поползла на них, приподнимая правой рукой топор.

...Крепко спит Павлик.

И снится ему удивительный сон. На дворе будто стоит ясный солнечный день. Такой же, как вчера был. Только кедринская улица почему-то безлюдна. Один Павлик на ней. И тихо-тихо. Вдруг с той стороны Таволги из-за густых макуш кедров бесшумно вынырнул аэроплан. Сделав два круга над Кедринкой, он мягко ткнулся колесами в дорогу на самом краю деревни. Прокатился вдоль улицы и рядом со школой остановился. Со всех ног припустил Павлик к аэроплану. Подбежав, он собрался было что-то крикнуть летчику... Да вдруг оказалось, что в кабине сидит не летчик, а Санька Лихов. Прищурив, как обычно, левый глаз, Сань-

ка весело командует: «Давай-давай! Живо лезь ко мне! Полетим. Письмо, которое Калинину написал, в Москву отвезем. Почтой-то когда еще дойдет. Живо садись!» Павлик вмиг очутился в маленькой тесной кабинке за Санькиной спиной. «Поехали!» — застегнув шлем, радостно крикнул Санька. Бесшумно закрутился пропеллер. Самолет вздрогнул и начал подниматься над Кедринкой: выше, выше, выше. Только ветер зашумел в ушах, словно мешок с картошкой кто-то по сухим листьям тащить начал... И вдруг все пропало...

— Полька-а, сволочина! — срывающимся голосом на всю избу закричала Настасья. — Вставай!

Полька вскочила на колени — она спала на полу, между столом и кроватью, — очумело вытаращив глаза и разинув рот, завертела спросонья головой.

— Сюда иди, раззява! — уже тише крикнула Настасья.

Ничего путем не понимающая Полька, ежась и почесываясь, подошла к печке.

— Лезь сюда! Помоги стащить. Живо! Тяжеленный какой дьяволина.

Увидев обмякшие, болтающиеся плетьми руки Павлика и его бледное с закрытыми глазами лицо, Полька наконец поняла, что произошло.

— Ой, мамка-а! — резанул тишину избы дикий крик Польки. — Что наделала!

— Замолчи, дура!

Шатаясь, словно пьяная, Полька ловила широко открытым ртом воздух. Мотая головой, подняла дрожащие руки и помогла матери спустить на пол еще теплое тело Павлика.

— Готов! — прошипела Настасья. — Сейчас пока в подпол... А в энту, завтрашну, ночь за огородом закопаем... — Настасья вскочила на приступку и схватила стоящую на печи лампу без стекла. От резкого взмаха огонь погас.

— Ишшо не слава богу! — спрыгнув на пол, метнулась к столу.

— Бога-то хоть бы не поминала! — простонала Полька.

— Цыц, сволочина!

Настасья пошарила на столе спички. Суматошно стуча ими, пыталась зажечь. Спички ломались.

— У-у, нечистая.

Наконец одна из спичек вспыхнула. Сильно вывернув фитиль, Настасья зажгла лампу. Бухнула ее рядом с открытым лазом в подпол.

Спрыгнув в подпол, собираясь стащить туда убитого, мачеха вдруг остолбенела. По спине поползли мурашки.

Чуть слышно простонав, Павлик приоткрыл глаза.

Мачеха кошкой метнулась наверх, схватила с полатей топор и несколько раз ударила острием по голове...

— Сатаню-ука! — заревела Полька. Девочка вцепилась обеими руками в свои раскосмаченные волосы и, не сгибая коленей, упала на холодную жесткую постель. — Змеина ты подколодная-а-а!

До самого утра худенькие плечи ее не переставали дергаться.

Привалив старым тряпьем в углу подпола тело пасынка, запыхавшаяся Настасья вылезла наверх, в избу. Закрыла лаз. Ползая на четвереньках и наклоняя лампу, внимательно осмотрела пол. Крови на нем почти не было — так, две-три капелюшки. Кровь пролилась в подпол.

— Ну и хорошо! Совсем ладно, — довольная, проговорила она, поднимаясь на ноги. А потом повернулась к иконам, упала на колени и размашисто закрестилась:

— Слава тебе, господи, Исусе Христе!

Дальше действовать решила так: день, а если что, и другой пусть полежит в подполе. Не понесет же

черт, размышляла она, должно, сразу-то с обыском. А узнавать про него заявятся, мудрено ли что-нибудь придумать... На охоту, мол, с утра смотался. Ружье вот только да патронташ куда-то понадежнее запрятать надо!.. Потом в следующую ночь за огородом выкопать поглубже ямину, да и... А сверху привалить получше картофельной ботвой. Ищи-свищи потом ветра в поле!

Думала Настасья — все просто, а случилось поиному...

— Больно уж всполошились по нему, ироду, в деревне, — бросала она во враждебный зал тяжелые слова. — И чего он вам хорошего-распригожего, варначина, сделал? — зло осмотрела она своими прищуренными глазами сидящих в первых рядах кедринцев. — Чистый содом развели. Вертоголового Саньку Лихова за Емельяном на пихтозавод турнули. Всей деревней, почитай, в розыски вступили... Верно... Уж скажу как на духу: боязно стало копать ночью ямину: не подкараулила бы ишшо кака собака. Вот и пришлось его, окаянного, на дно старой силосной ямы опустить. В грязную жижу... Сколь дней подряд дожди лили... Кабы в последнее время не установилось ведро, — убежденно проговорила Настья, — ни в жисть, ни во веки бы вечные не найти вам! Вот как перед иконой... Да ишшо кабы вот не эта... — кивнула она в сторону своей дочери Польки, — которая теперь круглой сиротой остается... А с антихристом Пашкой нам бы все одно вместе не жить! Намедни мне даже во сне приснилось: не тамошние активисты-партейцы, а он, Пашка, нас и раскулачивал. Заявился будто в наш с Митрофаном-покойником дом, расселся и зачал все чисто описывать... Тесно мне с ним было по одной земле ходить!

— Ну и вражина! — выдохнул кто-то в напряженной тишине, — и откуда такие только берутся?

— Вот гадина! — неслось с разных концов зала, битком набитого народом.

— Змеина ты подколодная! Зверюга лютая-а! — громко крикнула женщина, сидящая во втором ряду.

Настасья, узнав голос Сырчихи, приготовилась было той что-то ответить. Но властный звон судейского колокольчика предупредил Настасью.

Объявили перерыв. А через полчаса опять переполнен зал.

— Встать! Суд идет!..

— Народный суд Агуйдетского района... Рассмотрев дело об убийстве гражданкой Уткиной... Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики...

Приговор был суровым и справедливым: убийцу Павлика Груздилова приговорили к высшей мере наказания — расстрелу.

ЭПИЛОГ

Погожим сентябрьским днем к парадному входу Агуйдетской средней школы по широкому деревянному тротуару подошли двое — мужчина в форме военного летчика и женщина в строгом светло-коричневом платье. Летчик нес корзину с яркими городскими цветами. Над левым карманом его кителя поблескивали две полоски орденских колодок.

— Ну вот, Саня, читай! — проговорила женщина, когда они остановились.

У дверей школы была прикреплена доска с золотыми по синему фону буквами: «Агуйдетская средняя школа имени Павлика Груздилова...»

— А теперь давай пройдем... к нему. — Женщина взяла летчика под руку, и они по чистенькой, посыпанной песком дорожке вошли в пришкольный сквер.

Там, на высоком сером постаменте, стоял бронзовый мальчик. Концы его пионерского галстука были изогнуты и как будто развевались на ветру.

Военный летчик и женщина остановились. Они стояли долго. И молчали.

Летчик пристально всматривался в лицо бронзового пионера.

Лицо это было приветливым, светлым. В легком повороте головы, в открытом взгляде, в волевой складке губ проступали задор и смелость юности.

— Вот таким я и помню Павлика, — задумчиво проговорил летчик. — И помнить буду всегда. Знаешь, Марина, когда мне на фронте приходилось трудно, когда казалось: все! на большее сил не хватит, лицо нашего Павлика вставало перед глазами и я слышал его голос: «Ты что это, чудо-юдо самовар? А, Санька? Давай, действуй!» И это мне помогало...

Мужчина подошел к памятнику и положил у постамента цветы. Потом они присели на скамейку.

Разговор их то и дело возвращался к недалекой отсюда деревне, что протянулась по левому берегу речки Тазолги: возвращался к поре их вихрастого детства. И снова и снова в этот разговор живым входил их друг, настоящий товарищ Павлик Груздилов.

...— Да, а где сейчас Полька, сводная сестра Павлика? — спросил летчик. — После детского дома и школы, слышал, в какой-то техникум поступила?

— Да-да. В сельскохозяйственный. Ну, она давно уже его окончила и теперь работает зоотехником. В совхозе, недалеко от Томска. В прошлом году приезжала в Кедринку Емельяна Степановича навестить.

— Я собираюсь к нему завтра заехать, — сказал летчик. — Мы же с ним переписываемся. А здесь, у вас в школе, он бывает?

— Частенько. И не просто бывает. На школьных собраниях, на пионерских сборах выступает. С ребятами беседует. Они ведь у нас о Павлике без конца слушать готовы!

В это время из раскрытых школьных окон послышался звонок на перемену. Тотчас же в скверик примчалась ватага мальчишек и девчонок.

— Марина Павловна! — громко крикнул черноволосый крепыш. — А у нас будет встреча... — Тут он взглянул на летчика и смолк.

— Обязательно, — засмеялась Марина Павловна. — С боевым летчиком Александром Петровичем Лиховым, участником Великой Отечественной войны, другом Павлика Груздилова. Вот он!

— Ура-а! — закричали ребята и плотным кольцом окружили скамейку, на которой сидели Марина Махова и Санька Лихов...

А с высокого постамента смотрел на них Павлик Груздилов,

и веселый крепкий ветер сбил в сторону его пионерский галстук.

* * *

В основу этой повести положены события, которые произошли в поселке Заря Тегульдетского района Томской области в теперь уже далекие тридцатые годы.

Географические названия, как и фамилии и имена героев, автором изменены. Главного героя повести в жизни звали Павликом Гнездиловым. Это имя носит теперь средняя школа в селе Тегульдет.

СОДЕРЖАНИЕ

Брусьянин Г. Е.

Б89 Это случилось в Кедринке: Повесть. — М.: Мол. гвардия, 1981. — 190 с., ил. —

В пер.: 40 к. 100 000 экз.

В маленьком поселке одного из глухих районов Сибири в далекие теперь тридцатые годы был создан пионерский отряд. О первых шагах этого отряда и его вожаке Павлике Гнездилове, злодейски убитом кулаками, рассказывает повесть. Книга рассчитана на школьников среднего возраста.

ББК 84Р7
Р2

Б $\frac{70803-230}{078(02)-81}$ 046—81. 4803010102

ИБ № 2758

Георгий Ермолаевич Брусьянин

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В КЕДРИНКЕ

Редактор **Л. Лузянина**

Художник **А. Захарченко**


Художественный редактор **А. Романова**

Технический редактор **Т. Шельдова**

Корректоры: **Н. Мейланд, И. Тарасова**


Сдано в набор 23.03.81. Подписано в печать 16.07.81. А00912. Формат 70×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Журнальная рубленая». Печать высокая. Условн. печ. л. 8,4. Учетно-изд. л. 8,4. Тираж 100 000 экз. Цена 40 коп. Зак. 309.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.



.81. А00912.
Гарнитура
печ. л. 8,4.
п. Зак. 309.

здательства
и типогра-


МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Г. БРУСЬЯНИН

Это случилось в Кедринке